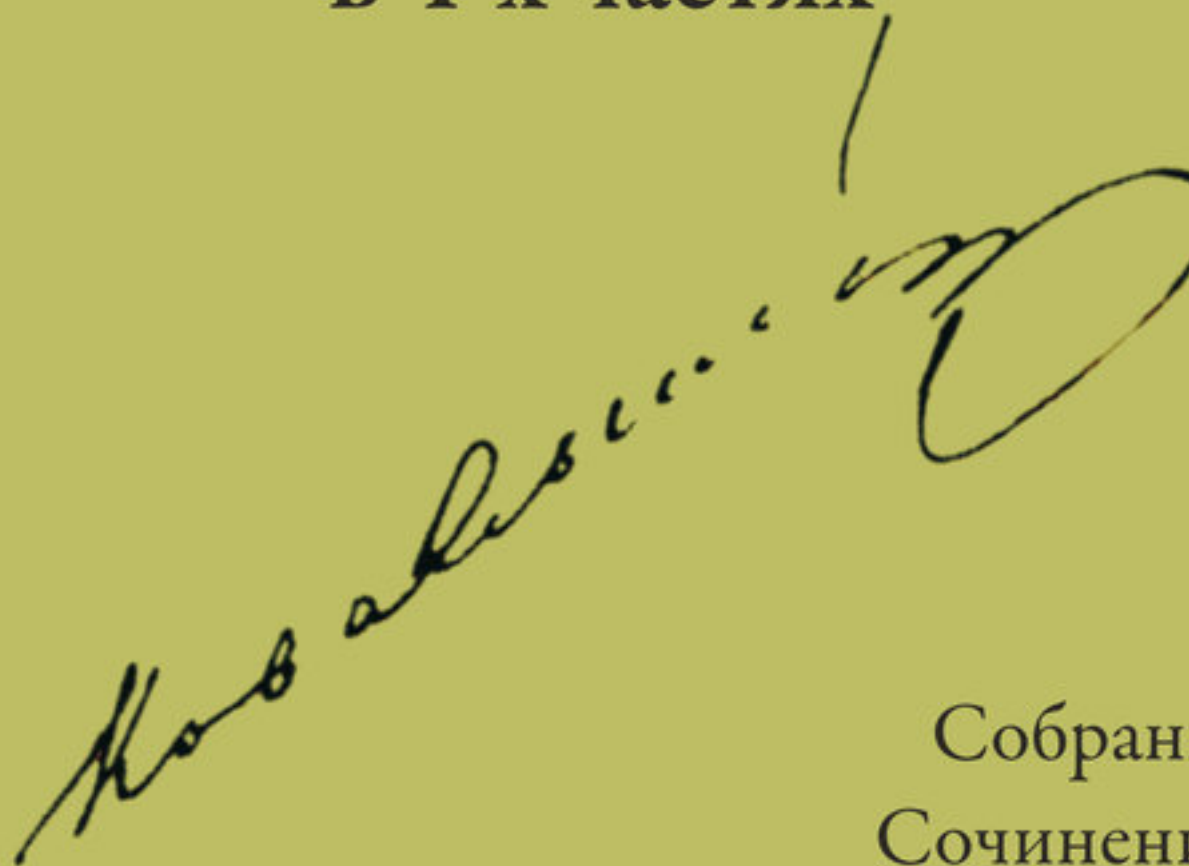


Ковалевский Е.П.

СТРАНСТВОВАТЕЛЬ П
СУШЕ И МОРЯМ

в 4-х частях

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted diagonally across the lower half of the cover. The signature appears to read 'Ковалевский' (Kovalevsky).

Собран
Сочинени
Том

Егор Петрович Ковалевский

Собрание сочинений. Том 1.

Странствователь по суше и морям

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10423386

*Ковалевский Егор Петрович. Собрание сочинений. Том 1. Странствователь по суше и морям в 4-х частях. / Под ред. М.А.Винник: Приятная компания; Москва; 2014
ISBN 978-5-9903300-7-8, 978-5-9903300-8-5*

Аннотация

Настоящая книга является первой из Собрания сочинений Ковалевского Е.П., дипломата, путешественника, ученого, общественного деятеля. В ней публикуются очерки его жизни и творчества, а также очерки, вышедшие в свет в 1843–1849 гг., объединенные названием «Странствователь по суше и морям». Издание дополнено архивными материалами.

Голос автора, обращенный к нам, читателям, увлекает; не ощущая почти двухсотлетний разрыв во времени, с удовольствием отправляемся в путешествие с этим мужественным, честным и сильным человеком.

Издание оценят все, кто изучает историю российской дипломатии и геолого-географических исследований середины 19 века, а также широкий круг читателей.

Содержание

От издателя	5
Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк	6
Предисловие	13
Часть первая	15
Предисловие	15
Зюльма, или женщина на востоке	16
Несср-Улла Бахадур хан и Куч-Беги	22
Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 ГОД. Киргиз-Казачья степь)	26
Глава I	26
Глава II	29
Глава III	33
Глава IV	38
Английские офицеры в Средней Азии	43
Военная экспедиция. По закраинам льда,	49
Пленный персиянин	54
Часть вторая	58
Рассказ сипая	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Егор Петрович Ковалевский

Собрание сочинений. Том

1. Странствователь по

суше и морям в 4-х частях



Редакционная коллегия:

Винник М.А., д.пед.н., профессор (главный редактор), Горбунова Е.А., Винник М.А.
Пушкова А. А.

От издателя

Основой настоящего Собрания сочинений Ковалевского Егора Петровича, дипломата, путешественника, ученого, общественного деятеля, послужило издание, выпущенное типографией Ильи Глазунова в 1871–1872 годах уже после смерти автора.

Кроме литературных произведений в настоящее Собрание вошли дополнительные материалы, касающиеся жизни и творчества Егора Петровича: опубликованные тексты выступлений, статьи, а также архивные материалы, публикуемые впервые.

Биографический очерк, вошедший в третий том предыдущего издания за подписью П.М., дополнен выступлением П. Анненкова 27-го октября 1868 г. на общем собрании Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, а также *Формулярным списком 1856 года о службе и достоинстве Корпуса Горных Инженеров Генерал-Майора Ковалевского* из Архива внешней политики Российской империи.

Пунктуация и орфография в настоящем издании приближены к современным нормам русского языка, географические названия и имена собственные оставлены в тексте в написании предыдущего издания с сохранением всех встречающихся вариантов.

Примечания настоящего издания выделены курсивом.

Выход первого тома настоящего издания приурочен к столетию со дня рождения Вальской Блюмы Абрамовны, первого биографа Егора Петровича.

Выражаем искреннюю благодарность Министерству иностранных дел Российской Федерации за поддержку проекта, Начальнику Архива внешней политики Российской империи Поповой Ирине Владимировне и сотрудникам Архива Волковой Ольге Юрьевне и Руденко Алле Владимировне за внимание и неоценимую помощь; коллективу Протопоповского УВК Дергачевского районного совета в лице учителя украинского языка, краеведа Остапчук Надежды Федоровны, Фесик Вероники Владимировны, а также Мельниковой Людмилы Григорьевны, которой, к глубокому сожалению, уже нет среди нас, за большую организационную и научную работу по увековечиванию памяти писателя на его родине – в селе Ярошивка Харьковской области.

Егор Петрович Ковалевский. Биографический очерк

В жизни русского общества, симпровизированного на европейский лад, и все еще импровизируемого, – в этом вихре быстро несущихся порядков, направлений, требований и учреждений, – деятели являются неожиданно, часто всего, менее готовые, редко годные, для предстоящей деятельности. Назначаемые с детства к прохождению известных поприщ, они обыкновенно их-то и не проходят; вытвердив известные роли, они этих-то именно ролей и не играют, а являются совершенно в других, и принуждены их импровизировать. При таланте это удастся, без таланта нет, если преданность или смелость всего не превозмогут; но во всяком случае свежий ум освежит рутину, и поможет иному – роль, которую он не знает, сыграть гораздо лучше тех, кто вытвердил ее в совершенстве... Как в небогатой персоналом труппе, ему придется сыграть и не одну, а может быть, несколько ролей в той же пьесе. Там, где умственный спрос превышает предложение, иначе и быть не может.

Е.П. Ковалевский принадлежал к разряду таких умов – быстрых и восприимчивых, растящих плоды на всякой почве. Студент – словесник в Харькове, горный инженер на золотых приисках и заводах Сибири, дипломатический агент в Китае, Черногории, Нубии и Египте; директор азиатского департамента в Министерстве иностранных дел, и независимо от всего этого, а частью и благодаря этому, – даровитый литератор – путешественник и исторический писатель; наконец, главный деятель в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым: вот те роли и поприща, где суждено было Е.П. Ковалевскому оставить по себе следы, очень характерные и симпатические, оригинальные и живые, каким был он сам. Много людей всяких развитий и народностей, под всякими градусами широты видели этого утлого, худощавого и скучающего человека, как бы нехотя и с трудом ворочавшего языком, с виду ко всему равнодушного и слабого, и который, в минуты, когда предстояло совершить то, что он себе поставил целью, внезапно преображался в энергического деятеля, с огненной речью, с несокрушимой волей и силой, даже физической. Но начинался опять обычный ход жизни, скучный и без содержания, и опять являлся немощный и ленивый человек, лениво отделяющийся шутками и полусловами от пустых разглагольствований и споров. Только среда совершенно близкая ему по душе и по направлению всегда имела в своем распоряжении то особое добродушие и тот полужадумчивый, но оттого еще более разительный юмор, которые отличали Ковалевского. Уроженец юга России, он до конца сохранил на себе отличительные черты своей родины, милые холмы которой, с ее дубовыми рощами, хуторками в степи и стаями белых гусей на прудах, не удалось затмить в его сердце ни величавым красотам Белого Нила, ни стремнинам Алтая и Черной Горы. На обратном пути из Нубии он приводил в недоумение своих земляков, уверяя их, что Малороссия гораздо лучше всего, о чем они его расспрашивали. Каждое случайно услышанное меткое выражение на родном наречии приводило его в восторг неописанный: «Ах, как это хорошо!» – говорил он, вспламеняясь, – «Ну может ли что-нибудь сравниться с этим!»

Егор Петрович родился в 1811 году, в тридцати верстах от Харькова, в деревне Ярошовке, родовом имении своего отца, почтенного екатерининского бригадира, уважаемого, за стойкость правил и строгую жизнь, многочисленными родными и соседями, которые всегда находили в его уютном доме радушный прием и готовый разумный совет. Младший из пяти сыновей, и притом с детства болезненного сложения, автор наш, по всем этим правам, был баловнем дома – сестер, братьев, отца и особенно матери, женщины неистощимой доброты и любви, на которую он и походил более других в семействе. Патриархальность тихого и небогатого, впрочем, совершенно достаточного, помещичьего быта; приволье полей и садов;

рассказы суеверной дворни, и особенно няни, о разных таинственных чудесах, происходящих в темные южные ночи, иногда даже среди белого дня, в старых тенистых аллеях; жалобные крики совы на семейном кладбище под серебряными чашами тополей: вот обстановка детства, имевшая неотразимое влияние на молодую душу Ковалевского. Не без серьезной иронии, ему столько свойственной, рассказывал он после легенду о себе, созданную конечно воображением все той же няни: как она пошла с ним, ребенком, в сад, как посадила на траву под грушу, а сама полезла «трусить дули»; как она вдруг услышала, что Лёленька заплакал, – смотрит, а рядом с ним сидит другой Лёленька и тянется к нему; как она спустилась скорее на землю и схватила ребенка – которого, уж и сама не знает, да ну бежать... и т. д. и т. д.

– Я уверен, что она взяла именно не меня, а того другого; оттого-то я и не похож ни на что, – прибавлял он с уморительной серьезностью. Но, и не шутя, расположение к таинственному и чудесному сохранило над ним власть до старости. Предсказатели и гадалщицы находили в нем своего посетителя. Правда, он тут же с несравненным комизмом передавал их пророчества и свои собственные ощущения, когда ему приходилось проделывать разные испытания, вроде нюханья с пророками табаку, питья чаю и т. п. Восторженная религиозность детства, – плод домашней обстановки, в нем продержалась недолго. В голубом воротнике студента он еще молился горячо: близость и частые посещения родного крова, тревоги и неизвестность экзаменов поддерживали в нем эту потребность. За ней показалась другая – потребность выливать душу в размеренных звуках и образах, и вот, уже на студенческой скамейке, задумана и начата целая трагедия, оконченная впоследствии и напечатанная под названием «Марфа, посадница Новгородская, или Славянские жены». Единственные экземпляры этой библиографической редкости сохранились в семействе автора. Небольшая книжка, писанная белыми стихами, с посвящением трагедии, прозою, памяти Озерова, интересна только как первый опыт будущего писателя и иного значения не имеет.

Окончанию курса в университете предназначено было дать новый оборот жизни молодого человека. Отправленный в Петербург, к своему брату, который был двадцатью годами его старше и имел самостоятельное служебное положение, он скоро последовал за ним в далекую Сибирь – на Алтай, куда последний был назначен главным горным начальником. Евграфу Петровичу Ковалевскому, впоследствии министру народного просвещения, а тогда дельному горному инженеру и умному администратору, не оставалось ничего другого, как пустить своего меньшего брата по пути, на котором он мог руководить его. Скоро молодой студент, облеченный в форменную одежду горного человека, уже работал на золотых приисках, и плодом новых ощущений в девственной тайге полудикого края был очерк жизни золотопромышленников и рабочих, напечатанный в «Библиотеке для Чтения» и замеченный в свое время по меткости описаний и наблюдательности. Тощая брошюрка стихотворений, «Сибирь – Думы», написанная в тех же пустынях, под шум Иртыша и Оби, осталась, вместе с «Марфой посадницею», свидетельством того, что ни драма, ни стихи не были уделом Ковалевского. Последних он и не пытался писать более; но к драме еще раз вернулся, уже в развитии своего литературного таланта, – не с большим, однако ж, успехом. Это была пьеса в прозе, изображавшая судьбу светского мота, обедневшего и всеми покинутого, но у которого достало воли – в глуши золотых приисков, собственными усилиями и трудом, поправиться, разбогатеть и явиться мстителем в прежнее общество за свое временное уничтожение. Драма предназначалась для сцены, даже разучивалась, и главную роль, с горячими монологами, должен был играть Каратыгин, – обстоятельство, особенно пугавшее автора.

– Как я только подумаю, – говорил он, – что Каратыгин примется кричать это на весь театр, – так бы вот и взял назад пьесу.

И точно, он ее взял, а рукопись уничтожил; таким образом, она не появилась и в печати.

Случайно попав на дорогу горного инженера, Ковалевский был выведен ею также неожиданно и на другое поприще, поприще дипломатическое, где врожденные таланты и

энергия выдвинули его скоро на видное место. Как горный инженер, он был командирован в 1839¹ году в Черногорию, для разведки золота и обучения туземцев промывке его. Но при условиях, какие тогда сложились, не одна эта цель была достигнута: молодой, горячий, симпатический русский, поэт в душе, и такой же молодой и горячий, поэт уже на деле, владыка Черногории, Петр Негош, воспитанный в России, близкий ее нравам и интересам, – не замедлили сойтись тесно и дружески – не как представитель могущественного народа и государь маленького племени, но как сходятся только молодость. Они делили досуги и труды, читали, декламировали Пушкина и вспоминали милую им обоим далекую страну. Патриархальные сенаторы и весь патриархальный люд Цетинье и гор смотрели на обходительного и всему сочувствовавшего, чему они сами сочувствовали, русского, как на своего... Какой-то первобытный мир и тишина охватили душу молодого путешественника: «мне кажется, будто я опять в Малороссии – в Ярошовке», – писал он родным.

И вдруг в невозмутимых горах разразилась военная буря: исконные враги черногорцев, австрийцы, вторглись в эти священные горы и подняли на ноги всех, от старика до отрока. Ковалевский, как не чужой, был принужден (и, конечно, не жалел о том) взять также ружье и карабкаться вместе с горцами по стремнинам, преследуя скоро разбежавшегося врага. Тут начинаются трудности положения нашего героя: упоенные победой смельчаки, не сознавая того, что они сильны только под защитой этих природных стремнин, и непобедимы своим умением карабкаться по ним, вздумали перейти в наступление и перенести войну в Австрию.

– Пусть русский капитан нас ведет туда! – кричали они.

И не было никакой возможности вразумить их ни в том, что идти в Австрию безумно, ни в том, что русскому капитану вести их туда просто преступно.

– Русский царь для того и послал тебя, чтоб ты за нас заступился! – шумела толпа, – веди на австрийков!

Дело доходило даже до угроз. Нелегко, и то под условием перевешать пленных австрийцев (между ними были и офицеры), склонились черногорцы на мир, которого они не хотели заключать без личного ручательства Ковалевского.

– Пускай подпишет капитан! – говорили они: его австрияки не посмеют обмануть, а нас обманут.

Капитану горных инженеров приходилось стать главнокомандующим, трактующим о мире...

Австрийские, а за ними и все европейские газеты, конечно, не преминули раздуть эпизод этот чуть не во вмешательство русского капитана в международные дела дружественной державы, и он едва не поплатился за него своими эполетами. Времена были не особенно ласковые, и только искреннее и совершенно правдоподобное изложение всего дела, как оно действительно было, а не так как хотели уверить, что оно было, – в особой записке, поданной венскому нашему послу самим виновником, сменило гнев на милость и расположило в его пользу государя, который даже пожелал видеть Ковалевского лично по возвращении его в Петербург. Вывезенный им маленький черногорец, сын одного из сенаторов, для воспитания в России, был допущен также в Аничкин дворец, и оба были приняты милостиво.

– Ты в какую службу хотел бы? – спросил император черногорца.

– В такую, как капитан! – отвечал тот решительно.

– А в такую, как я, не хочешь? – продолжал Николай, указав на свой гвардейский мундир.

– Не хочу – у капитана лучше.

После этого он был определен в Горный Институт, на казенный счет, где, однако, отличился более на разводах, чем в классах. Настоящее свое призвание нашел он на Кавказе.

¹ Ковалевский Е.П. посетил Черногорию в 1838 году (Прим. ред.).

Поездка в Черногорию решила однажды навсегда дальнейшее направление жизни Ковалевского: в литературе первой книгой его, замеченной критикой и публикой, были «Четыре месяца в Черногории»; на поприще служебном – дорога дипломатическая открыла ему двери, и с этих пор не было той щекошливой, трудной или отдаленной командировки, для исполнения которой не прибегали бы к нашему горному инженеру. Затеять ли экспедицию в Бухару или зимний поход в Хиву, – в снежных степях уже качается на верблюде этот неустойчивый путешественник; задумают ли пробиться дипломатическими факториями и консульствами, в недоступные для них земли Китая; пошлют ли по Нилу ученую комиссию для менее ученого сближения с Мегметом-Али; надо ли ехать в Пекин, или в земли славян в разгар европейской коалиции против России; наконец, быть в осажденном Севастополе: везде – в Африке и Китае, в Крыму и Хиве, в Черногории, Боснии, Сербии, Далмации, – везде и всюду знакомая нам тощая фигура усталого человека подвизается самоотверженно и неустойчиво...

Обстоятельное изложение этой стороны деятельности автора не входит в план беглого очерка его жизни. Место ее, и место весьма почетное, – в истории наших международных отношений с племенами далекого Востока и славянами. Здесь довольно указать на то личное влияние, какое вносил везде Ковалевский, обязанный всегда счастливыми результатами только своему богатому уму и знанию людей. С народами упрямыми и лживыми, с их властями в шариках на шапках, ему помогала его неустрашимая, почти отчаянная решимость. Заключение крайне выгодных торговых условий с Китаем Россия обязана именно этой черте своего уполномоченного. Помышляя вообще немного о всякой опасности, он особенно мало помышлял об опасности от начальства, и потому часто прибегал в таких случаях к мерам, менее всего указанным инструкцией. Истоцив мирные способы для окончания переговоров с несговорчивым и лживым народом Востока, он делал ему как бы примерную войну: издали показывались конвойные казаки, и какая-нибудь незлобивая пушка, едва ли хоть раз стрелявшая во всю жизнь, обращала одним видом своего безвредного жерла непреклонных шариков в самых послушных, и трактат подписывался. Затем, и казаки и пушка, с таким успехом сыгравшая несвойственную ей грозную роль, возвращались опять к их мирным занятиям... В хивинскую экспедицию Ковалевскому пришлось кинуть все свои пожитки, и только тем задержать гнавшихся хищников, которые делили добычу, пока он успел запереться в крепостцу, откуда и отражал дикарей с необыкновенной стойкостью и находчивостью.

Для нас преимущественно дороги эти индивидуальные черты политического деятеля, потому что они обрисовывают его как человека.

Удивительно ли, что влияние и популярность Ковалевского всегда превосходили его общественное положение? Между славянами, например, они были так велики, что ревнивое австрийское правительство, после 1854 г., закрыло ему навсегда въезд в империю, и не одному носившему то же имя пришлось испытать на границе его неудобства. За то назначение Ковалевского директором азиатского (он же и славянский) департамента было встречено как счастливое предзнаменование между славянами. Тогда, как и прежде, и даже после, когда он почти уже частным человеком, сенатором, вдали от административных сфер, отдался любезным ему занятиям литературой, – его скромный, но гостеприимный кабинет был той точкой притяжения, которой не миновал ни один заезжий славянин. От князя Черногорского до последнего пастуха все перебивали в нем, отвели свою душу искренней беседой, получили разумный и благой совет, нашли поддержку, ободрение, нередко и денежную помощь, хотя сам помогавший, случалось, вынимал для этого последние деньги из бумажника. Любя и балуя, он часто и журил своих любимцев, высказывал им горькие истины, заставлял изменять решения, мириться и проч., и все они видели в этом его право, а в своем повиновении ему – долг.

– Егор Петрович – отец нам! – говорили уходя, иногда наиболее обруганные и пристыженные.

Но не одни славяне знали кабинет Ковалевского – эту своего рода иллюстрацию к разнообразной жизни странствователя, всю составленную из прихотливых произведений далеких стран. Из них двое живых: китайская собачка (скоро, впрочем, исчезнувшая), с поразительным типом Небесной Империи, и черный как сапог негр, вывезенный из Нубии и окрещенный в Пекине, приветствовали еще на пороге посетителя, – первая сиповатым лаем, а другой – ослабленными, снежной белизны зубами. Если к этому присоединить кипы журналов, книг и рукописей, валявшихся всюду и неизбежные конфеты, которыми хозяин, слоняясь из угла в угол, лакомился во всякое время дня и угощал других, – то небольшая комната, постоянно наполненная самым разнообразным обществом, представит довольно наглядно домашнюю обстановку человека нас занимающего. В известные часы можно было, наверное, встретить здесь, рядом с первобытным сыном Черной Горы или жителем Белграда, всю аристократию ума, а иногда и рождения или общественного положения. И все это как-то укладывалось вместе, гармонировало в этих гостеприимных стенах. Самые разнородные оттенки мнений, направлений и чувств могли встречаться только здесь; представители самых противоположных литературных лагерей – сходиться только сюда. За то все, что можно было узнать и услышать свежего и никому еще неизвестного по всем отраслям, – литературы, администрации, политики и науки, – узнавалось и слышалось именно здесь. Не будучи пуристом в деле политических убеждений, Ковалевский отличался полнейшей терпимостью. Часто спор, принимавший жесткий оборот, искусно обрывался искренним смехом, вызванным оригинальной и всегда уместной шуткой хозяина. Самая неуступчивая и строгая молодежь крепко пожимала ту самую руку, которая протягивалась людям, считавшим чуть не сокрушителями основ общества многих молодых посетителей кабинета. Только люди нечестивые и казнокрады знали, каковы те неумолимые сарказмы, которыми он обстреливал их, как артиллерийским огнем. Добрый и снисходительный вообще, он испытывал даже некоторое наслаждение в том, что умел продлить муки этих людей и оказывался неистощимым в изобретении к тому способов.

Рассказав о дипломатической карьере нашего автора, мы почти рассказали и о его карьере литературной: одна вызвала другую, и обе они взаимно дополнились. Путешествия и в службе и литературе составили того цельного «Странствователя по суше и морям», который по праву завладел принадлежащим ему и там и здесь местом. После Черногории, Хива, Бухара, Ташкент и проч., вызвали ряд самобытных и ярких очерков, в форме до того времени небывалой, в изложении легком и живописном, трепетавших образностью, юмором и меткой наблюдательностью.

– Надо написать то, что я видел так, как обыкновенно у нас не пишут, – говорил Ковалевский, близким. – Мне кажется, тогда только и выйдет интересно.

И точно, оно вышло хорошо. Первая, небольшая книжка рассказов, изданная самим автором под общим названием, выписанным выше, разошлась так быстро, что право второго издания было уже куплено книгопродавцем по истечении какого –нибудь месяца. Критика всех журналов и газет единодушно признала замечательный талант писателя-странствования. Даже газета Булгарина, не всегда воздававшая должное авторам, не воздававшим должного редактору, превознесла книгу, чем и остановила – было на время ее продажу. Эта характерная черта должна быть сохранена для будущего историка русской литературы.

– Помилуйте! Что вы наделали! – говорил прибежавший к автору издатель. Зачем вы не просили Фаддея Венедиктовича лучше обругать?

Но так как автор не просил также и хвалить, за не прошенную же похвалу не воздал должного, то скоро появилась и брань, начинавшаяся оговоркой, что мы-де поддались пер-

вому впечатлению и сожалеем о том... Этой поправки было достаточно, чтоб снять опалу публики с книги и направить продажу лучше прежнего.

Успех подстрекнул писателя, и за первым выпуском последовали другие, с не меньшей удачей. Хотя с тех пор прошло много лет и появилось несколько прекрасных путешествий в русской литературе, но «Странствователь по суше и морям» сохранил все-таки свою цену, уже потому, что страны им изображенные не из тех, которые посещаются легко и охотно, а если и посещаются, то не всегда такими даровитыми и умными литераторами. Египет с Нубией и Китай доставили еще несколько интересных томов того же автора, уже хозяйничавшего в литературе путешествий.

Более сложная и заботливая деятельность служебная приковала потом многолетнего путешественника к столу директора департамента, и, остановила, было надолго продолжение литературной его карьеры. Романы, повести и рассказы, писанные им большей частью под разными псевдонимами (Нил Безымянный, Егорев и др.), в разные промежутки безделья, вызванного поражениями за ломберным столом, не могут идти в счет и не вошли в настоящее собрание сочинений. Сам сочинитель видел в них не более, как литературные грехи. Проказы же современной цензуры делали их еще греховнее. Так, в одной повести «Виртуозы», посвященной описанию известного в то время злобного кружка игроков, цензор, руководимый охранительными началами ко всему, даже к игорным домам, счел за лучшее перенести место действия «на воды в Германию», и оставил светлые петербургские ночи, ялики на Неве, ночных ванек-извозчиков, нанимаемых в Коломну, табак Жуков и т. п.

В последние годы своей жизни, опытный и известный уже на прежнем поприще писатель попробовал свои силы на новом, и в книге «Блудов и его время» явился искусным передавателем портретов исторических личностей и эпох...

Да, в эти последние, тихие годы жизни, протекшей так тревожно и богато в опасностях дальних странствований, в столкновениях общественной и служебной деятельности; после долго не умолкавших порывов к новым трудам, новым ощущениям и новым тревогам, — неутомимый странствователь и пылкий деятель мало-помалу уложился в почти безвыходного работника у письменного стола. Во всякое время дня можно было застать его с пером в руке, или над документами и книгами публичной библиотеки, и редакторы лучших наших журналов не без удовольствия видели мелкую и частую его скоропись, которой покрывались листы за листами. Если что отрывало еще Ковалевского от таких занятий, так это дела по комитету Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, которого он был одним из главных осуществителей и почти пожизненным председателем. Говорим *почти*, потому что устав временно устраняет выбывающего члена, впредь до новой очереди, причем Ковалевский был всегда избираем вновь, — единогласно. Тут сосредоточились вся последняя энергия и вся любовь, вносимая им всюду, где только он являлся действующим лицом. Общество и его комитет, пенсионеры общества и вспомоществуемая учащая молодежь стали семьей старого холостяка. Устройство чтений и лекций, концертов и представлений в пользу Общества занимали и поглощали его как юношу, почти как ребенка: он оживлялся, суетился, ездил, писал во все инстанции, державшие в своих руках дозволения и запрещения этих невинных собраний; не чувствовал усталости, весело шумел и молодел душой. Успех радовал его, как победа, равнодушие публики выводило из себя, а редкие нападки журналистики на действия комитета просто делали его несчастным. Он о них говорил с огорчением, почти со злобой; видел страшную несправедливость к людям, дающим свое время, свои труды и часто свои деньги делу, за которое их же еще и ругают! Дни заседаний комитета, всегда собиравшегося у него, были для него отрадными днями, и как эти заседания мало походили на что-либо формальное чинно устроенное, и как в то же время они велись умно, последовательно и осмотрительно при помощи радушного председателя, не забывавшего своих конфет и слонянья из угла в угол! Всегдашнее расположение Ковалевского помочь и

дать денег нашло себе полное применение в его новой роли. Не ожидая решения комитета, по просьбе нуждающегося, иногда даже не внося в комитет этой просьбы, он спешил выдать из своего бумажника, всякий раз, когда последний позволял это. А бывали случаи, что он и не позволял. Обладатель его был одним из тех немногих высших русских чиновников, которые, дослужась «до степеней известных», остаются с окладами таким степеням неизвестными и едва позволяющими существовать безбедно. А тут еще – всякое отсутствие сильных ощущений и не угасшая вполне потребность в них, заставляли искать опасностей и тревог на единственном, доступном поприще в четырех стенах – на поприще карт. Зато, когда случалось этому истертому, большому бумажнику, который вечно валялся на столе, не скрывая ни от кого своих удач и поражений, – когда ему удавалось полнеть, он был к общим услугам. Счастлив был проситель, попадавший в такое время: хорошо было и близкой молодежи, а она постоянно окружала молодого до старости Ковалевского.

– Берите, господа, покуда есть, – говорил он с веселой искренностью: после и захотите – не будет.

Затем импровизировался какой-нибудь необыкновенный завтрак, пикник; логи и подарки родным, племянникам, игрушки внукам, – словом, «покуда было», нельзя было успокоиться. Говорят, то же самое проявлялось и в игре: покуда еще было, он не останавливался...

Умер Ковалевский, 21 сентября 1868 года, почти внезапно – от нервного удара, не оставив по себе, как и следовало ожидать, ничего, кроме чистого, честного имени, многим известного и дорогого тем, кто имел случай узнать ближе человека, его носившего; ничего, кроме таких услуг отечеству на разных поприщах, какие не всякий гражданин может предъявить на суд общества, да кроме заметной пустоты там, где не стало этого благородного деятеля, умевшего все наполнять собой, и кроме литературных трудов, полных таланта и наблюдательности.

П.М.

Предисловие (к изданию 2014 г. «Странствователя...»)

По просьбе бухарского эмира прислать горного инженера для разведки и исследования месторождений полезных ископаемых Ковалевский был командирован в Бухару (17 марта 1839 г. – 22 августа 1840 г.).

10 апреля 1839 г. Егор Петрович выехал из Петербурга, а в мае 1839 года прибыл в Оренбург. Отправка экспедиции задерживалась: оренбургский генерал-губернатор В.А.Перовский, на которого были возложены обязанности по ее снаряжению и отправлению, в то время был усиленно занят подготовкой к зимнему походу в Хиву для защиты русских интересов в Средней Азии [1]. Чтобы не терять время, Ковалевский учит татарский, знание которого впоследствии ему сильно пригодилось, выезжает в степь, посещает Сергиевские минеральные источники (г. Сергиевск, Самарской обл.).

Экспедиция, присоединившись к торговому каравану, выехала из Оренбурга только 30 октября 1839 года. В торговом караване присутствовал бухарский посланник Балтакули Чагатайбек Рахметбеков [1]. Ковалевского сопровождали горный инженер А.Р. Гернгросс, переводчик Григорьев и мастера горного дела. Однако достигнуть Бухары русским путешественникам не удалось. 17 ноября 1839 года у Больших Барсуков Ковалевский и его спутники фактически оказались в плену у хивинцев. В ночь с 21 на 22 ноября под покровом бурной ночи они бежали, 24 ноября, проехав 300 верст, достигли Акбулакского укрепления, где находился русский гарнизон. Через три дня укрепление осаждают хивинцы, и Ковалевский как старший в чине принимает на себя руководство обороной укрепления, заставляет хивинцев снять осаду и отступить. Позже Ковалевский и его спутники присоединились к отряду Перовского, получившего приказ об отступлении в Оренбург, куда они и прибыли в марте 1840 г.

По материалам экспедиции Ковалевским были опубликованы: в 1840 году в «Горном журнале» – статья «Описание западной части Киргиз-Казачьей, или Киргиз-Кайсацкой степи» (совместно с А.Р. Гернгроссом) [4], и в 1843 году – очерк «Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 года)» в составе первой части «Странствователя по суше и морям» [5].

Во время экспедиции Е.П. Ковалевский и А.Р. Гернгросс ведут геологогеографические, метеорологические наблюдения, которые записывают в путевой журнал (с 30-го октября 1839 г. по 11 марта 1840 г.). На этот журнал есть ссылки в статье «Описание западной части...» как на приложение к ней, но, возможно, в ходе подготовки к печати он был неожиданно снят цензурой. Впервые журнал был опубликован в 1980 г. [1]. Для настоящего издания копия путевого журнала была любезно предоставлена Архивом внешней политики Российской империи.

30 марта 1840 года Перовскому было вновь предписано отправить в Бухару Ковалевского. На этот раз с торговым караваном в Бухару он добирается через Ташкент. Свои впечатления Егор Петрович опишет в очерках, которые также войдут в первую часть «Странствователя...».

23 августа 1840 г. Ковалевский возвращается в Петербург.

Во второй части «Странствователя...», выпущенной вместе с первой отдельной книгой в 1843 году, Егор Петрович описывает Афганистан, Кашмир и Пенджаб, время посещения которых, по указанию Вальской Б.А. [2], точно установить не удалось. Очерки «являются одним из первых описаний русскими путешественниками этих стран и имеют важное значение для изучения Индии и Афганистана конца 30-х – начала 40-х годов XIX в...» [2, С. 79],

а очерк «Рассказ сипая» «представляет собою неизвестный русский исторический источник об англо-афганской войне 1838-1842 гг...» [2, С. 80].

Осенью 1843 г. на предложение Петербургского товарищества на «прииск и разработку золотоносных россыпей и других металлов» в Валахии и на восточном склоне Карпатских гор...» [2, С. 81] Ковалевский согласился отправиться на Карпаты и Балканы и произвести там разведку золота, что он и выполнил в 1843–1844 гг. Путешествие на Карпаты Ковалевский описал в третьей книге «Странствования...», вышедшей в 1845 году [6]. Путешествие на Балканы и Нижний Дунай Егор Петрович описал в IV книге «Странствования...», отрывки из которой публиковались в «Библиотеке для чтения» в 1844 и 1847 г., а полностью книга вышла в свет в 1849 г. [7].

Библиография:

1. Вальская Б.А. Путешествия Е.П.Ковалевского по Западному Казахстану в 1839–1940 гг. (по неопубликованному путевому журналу) // Страны и народы Востока. Вып. 22. Книга 2. М.:Наука, 1980. С. 46–65.
2. Вальская Б.А. Путешествия Егора Петровича Ковалевского. М.:ГЕОГРАФИЗ, 1956. 200 с.
3. Ковалевский Е.П. Воспоминания о берегах Нижнего Дуная // Библиотека для чтения, 1844. Том 65. С. 1–46.
4. Ковалевский Е.П., Гернгросс А.Р. Описание западной части Киргиз-Казачьей, или Киргиз-Кайсацкой степи // Горный журнал, 1840. ч.4.
5. Странствователь по суше и морям. Кн. 1 и 2. СПб.: Типография И.И. Бочарова, 1843.
6. Странствователь по суше и морям. Карпаты. СПб.: Типография М.Ольхина, 1845.
7. Странствователь по суше и морям. Часть IV // Библиотека для чтения, 1849. Том 94. С. 19–96.

Часть первая

Предисловие (к изданию 1843 г)

Издаю свои путевые записки выпусками для того, чтобы иметь возможность прекратить их во всякое время, и если первая книжка вам не понравится, то вы не увидите второй, хотя она уже в станках типографии. Описываю только то, что видел сам, или слышал от очевидцев. Судьба кидала меня большей частью в страны малоизвестные и почти недоступные для европейцев; на долю мою всегда доставались труд и лишения; тем не менее, участники в моих странствованиях, в моих тяжких экспедициях, с сердечным трепетом вспомнят былое, читая эти страницы: былое всегда так отрадно в воспоминании!

Зюльма, или женщина на востоке (Ташкент)

Я жил в Ташкенте и уже начинал свыкаться со своим грустным житьем... но надобно вам объяснить, что такое Ташкент?

В Средней Азии, составляющей обширную впадину всей Азии, раскинуто на безграничном пространстве несколько жилых мест, несколько городов, составляющих оазисы пустыни. Они образуют отдельные ханства, которые меняют так же часто свой вид, как и зыбучие пески, окружающие их. Это делается очень просто: город цветет торговлей и красуется азиатской роскошью; он возбуждает зависть и алчность соседа, и вот неприятельский набег; случай или сила благоприятствует чуждому оружию: город разорен, богатства разхищены, жители уведены в плен, иссякшие каналы не поддерживают более плодородия и вскоре сугробы песка заносят развалины бывшего города, и только изредка, закинутый сюда прихоть судьбы, путник-европеец, остановится над этими развалинами и горько задумается над тщетою человеческой.

Ташкент ни лучше, ни хуже других среднеазиатских городов, составляющих резиденции ханств. Десять тысяч низеньких, с плоскими крышами, домов, разбросанных в самом прихотливом беспорядке, обнесенных большей частью стенами, и таким образом, составляющих как бы отдельные укрепления; все это пересекается кривыми, узкими улицами и переулками, на которых никогда не увидишь и двухколесной повозки, не то, чтобы другого какого экипажа; посредине довольно обширная площадь, где кипит народ во всякое время дня, если нет молитвы в мечети, куда, волею или неволею, идет он на зов муэдзина; вокруг стена, в четыре сажени вышиною, местами разрушенная, местами, увенчанная бойницами, — и вот вам Ташкент.

Ташкент и Кокан, как следует двум добрым соседям, ведут между собой беспрестанную войну; то подчиняются вместе со своими городками и селами один другому, то составляют два отдельных ханства. В бытность мою в Ташкенте, хан его, Юнус-Хаджи, разбил наголову коканское войско, схватил самого хана, зарезал его, посадил в Кокане правителем своего человека и таким образом стал в голове довольно многочисленного и сильного народа.

Странно! В судьбе этих двух народов очень часто играет главную роль женщина: говорят, так уж им определено свыше! Еще недавно Кокан, слитый воедино с Ташкентом, выдерживал трехлетнюю войну против Бухары и, наконец, в прошлом году, покорен ею, — и причиной этому всему была женщина. Вот как было дело: — но я отступаю от своего предмета; что делать, старость болтлива! — Мегемед-Али, хан коканский, после смерти своего отца, женился на старшей его жене. Бухарский хан, облекший сам себя званием эмира, как блюститель магометанского закона, потребовал расторжения этого брака; мало, выдачи преступной жены и муллы, совершившего такой брак, для поступления с ними по законам. Само собой разумеется, что Мегемед-Али хотел быть сам властителем своих поступков; муллу бы то он, может быть, и выдал, а уж жены никому не хотел уступить без боя, и вот загорелась война, продолжавшаяся три года; война, которой последствия мы уже описали; прибавим к этому, что и хан, и незаконная жена его, и преступный мулла попались в плен; мулла уже казнен, с ханом поступят, вероятно, как поступают ханы друг с другом, а жена, — но поступки эмира не подлежат нашему суду².

² По новейшим известиям, Кокан уже сбросил с себя чуждое владычество и правится племянником зарезанного в Бухарии хана. (1843).

В Азии две породы людей, совершенно отличных одна от другой в нравственном отношении: это люди оседлые и люди кочевые. Человек оседлый – раб безусловный своего властителя; в нем только и чувства, только и страсти, что стремление к барышу, к наживе. Человек кочевой свободен, как птица поднебесная: удалство, баранта, вот сфера, в которой он обращается; отсюда вечная борьба этих двух народов между собой. Окружите их природой, находящейся также во вражде с людьми; сосредоточьте страсти людей в одну, которая, вследствие того, превращается в исступление; накиньте на все это мрачный покров фатализма, – и вот вам нравственный мир среднеазиатской пустыни, на горизонте, которого, яркой звездочкой блещет любовь женщины, та дикая, заменяющая все чувства, все страсти, все-сокрушающая, всеоживляющая любовь, о которой мы не имеем понятия. Там женщина, в своем заточении, только и живет для любви; ее обдумывает она в длинные дни одиночества, ее лелеет, ею гордится и красуется; она не знает других сердечных волнений; она чужда мучений нашего света, в котором изнывает бедное женское сердце, это сокровище любви, бережно сохраняемое на Востоке только для того, кому назначит его судьба; и только любви, одной любви просит она за все самопожертвование; и как страшится, как дрожит она за эту любовь. Не идет ли в урочный час ее властитель-муж, и она бьется по комнате, как бедная птичка, заведшая из клетки своих птенцов, и ревность западает ей в сердце, а ревность женщины на Востоке ужасна! Она проявляется или яростью львицы, защищающей своих детенышей, или мертвенностью отчаяния беспредельного. – Я расскажу один случай: воспоминание живо, ярко развивает предо мной свиток событий, едва я коснусь его.

Мы кочевали около Сыр Дарьи. В караване общее внимание возбуждала женщина, о красоте которой рассказывали чудные вещи, хотя лицо ее было всегда закрыто, и едва ли кто из рассказчиков видел его. Женщина эта уже несколько лет была женой какого-то богатого хивинца, но Аллах не благословил ее детьми, и вот она отправилась на поклонение какому-то святому мужу, и теперь возвращалась домой. Все это мне говорил очень подробно и очень красно наш толстый караван-баши, как вдруг общая суматоха прервала его разглагольствование. Вдали открыли всадника, и караванный люд был уверен, что это передовой согляда-тай какой-нибудь баранты, которая не замедлит грянуть на караван. Все столпились в кучу, вооружились как могли, хотя для того более, чтобы придать себе грозный вид и дешевле откупиться от баранты; но общий страх вскоре рассеялся; всадник ехал прямо к каравану, без всяких предосторожностей, и вскоре узнали, что это брат нашей незримой красавицы. На другой день, рано до зари, поднялся караван, и степь опять опустела. Мы всегда оставались на месте несколько времени по уходе каравана и потом догоняли его на рысях; Джюлума³ наша уже была снята, и мы любовались, как покинутые огоньки переигрывались между собой, то накидывая длинную тень вдали, то ярко освещая окрестную пустыню. У одного из этих огоньков, мы заметили человеческую фигуру и подошли к ней, надеясь найти такого же запоздалого и ленивого путника, как мы сами. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, по одежде, ту самую красавицу, о которой наслышались столько чудес. Она была недвижима. Ветер спал с нее покрывало. В лице ее, полном красоты и молодости, как бы замерла жизнь в минуту страшных, судорожных мучений; только пара движущихся, словно действием внутреннего механизма, зрачков, обнаруживала признаки жизни в этой женщине. Поодаль от нее, брат ее садился на коня и уводил с собой другого; мне стало страшно *за нее*; я кинулся к всаднику и остановил его. – А она? – спросил я. – Она остается здесь. – Как, здесь? – А что ж ей делать в Хиве: муж изменил и отказался от нее. – И он уехал.

Мы подошли было к покинутой всеми страдальце, и хотели убедить ее ехать вслед за караваном, но она, медленно приподняв руку, вынула из-за пояса обнаженный кинжал: знак был очень понятен, и мы удалились.

³ Джюлума, дорожная киргизская кибитка, род войлочной палатки.

В этом положении останется несчастная, пока ворон не выклюет ей глаз, пока ветер не приклонит к земле, и песчаные сугробы не занесут ее.

Обращаюсь к своему предмету: воспоминание о нем и теперь возмущает мою душу.

Я сказал, что начинал свыкаться со своим грустным житьем в Ташкенте. Да, жизнь европейца-немагометанина не завидна в Средней Азии. Редкий из тех немногих, которые вернулись оттуда, может похвалиться, что он не отведал яда, не испытал побоев, или по крайней мере не посидел в яме, что заменяет там наше тюремное заключение. Довольно вспомнить об одном Вольфе, который едва ли не вытерпел всех пыток, был продаваем на всех рынках Средней Азии, и – как объяснить странность человеческой природы – этот Вольф, вспоминая очень хладнокровно о своих бедствиях, не мог говорить без выражения особенной досады о том, что раз его продали дешевле, чем его слугу. – А участь Муркрафта, Коноли и, наконец, Бюрнса, или Сикендер-Бурноса, как называли его в Азии? Положение мое, правда, было не таково: я пользовался, хотя по наружности, дружбой хана и, вследствие того, уважением окружающих его. Мне предоставлена была, по-видимому, совершенная свобода, но я знал, что за поступками, за всеми движениями моими строго следят, и редко показывался в городе; жил между своими, изредка развлекаемый посещением своих ташкентских друзей и не мешался в их интриги. Прекрасный сад, расположенный у самого нашего дома и здоровый климат, которым один Ташкент, из всех среднеазиатских городов, может похвалиться, да разве еще Самарканд, – все это делало существование мое очень сносным. Но вдруг неожиданное происшествие разрушило весь мир моей жизни.

Поздно вечером, не знаю как, прокралась ко мне, никем не замеченная, старуха, негритянка: таинственно подошла она ко мне и, наклонившись к уху, произнесла шепотом: счастье валится тебе с неба; ты во сне не бредил о такой благодати.

– Ступай за мной.

– Куда?

– Это уж мое дело.

– И мое также.

– С ума сойдешь от радости, когда узнаешь. Счастливцев, счастливцев, – продолжала она, глядя на меня с улыбкой и качая головой. – Тебя зовет Зюльма. Зюльма, что краше самаркандской розы, Зюльма, любимая жена хана.

– Я не пойду, – отвечал я равнодушно.

Все убеждения негритянки были тщетны; я твердо помнил, что приехал сюда не для любовных интриг, и не поддавался никаким искушениям. Взбешенная, убежала она, но не прошло и получаса, как мне доложили, что негритянка ожидает меня.

– Прости меня, старую дуру, что я не так передала тебе волю ханши и не выдай меня злосчастною. Зюльма решила принять тебя по просьбе хана, который, видишь, хочет тебе показать этим особенную свою дружбу. Сам хан у нее, и они прислали звать тебя.

Это было довольно правдоподобно. Женщины в Средней Азии менее недоступны, чем в Турции или в Малой Азии, и еще недавно Султан-Букей угощал меня в кибитке старшей из своих жен. Я также знал сильное влияние Зюльмы на хана и народ, и потому, хотя не без некоторого сомнения, отправился за негритянкой.

Было поздно. Ташкент спал под сению Кара-тау, который, как верный пестун, берег его от песчаных ураганов степи. Сады, обнимающие отовсюду город, навевали прохладу и благоухание. На душе было легко и весело; но это отрадное чувство беспрестанно возмущается в городах Востока; мы коснулись главной площади, на которой возвышалась пирамида из голов человеческих, недавний трофей, приобретенный в победе над коканцами; таких пирамид несколько за городом: они составлены из голов киргизских, которым нет того почета, как коканским; далее, мы едва не задели за ноги ташкентца, торчащего на колу: выкатившиеся глаза его сверкали страшно и искаженное судорогами предсмертных мук лицо, навело

бы ужас на непривыкшего к подобного рода зрелищам. Не подумайте, однако, чтобы Юнус-Хаджи был какой-нибудь необыкновенный тиран; нет! Он был среднеазиатский хан. За то вполне заслуживал уважение за другие свойства; силой непреклонной воли, он успел соединить воедино разнородные части своего ханства, которое разрушалось от междоусобий и безначалия, и заставить страшиться своей власти соседей. Его упрекали в одной слабости, излишней страсти к своей Зюльме, за которую он воевал с коканским ханом и готов был сразиться с целым светом, но справедлив ли этот упрек?

Наконец, мы достигли жилища Зюльмы. В комнате, слабо освещенной, на коврах, настланных в несколько рядов, сидела женщина, до половины закрытая покрывалом, вместо уродливого халата с черной сеткой на лице, под которым обыкновенно скрываются здесь женщины; голова ее, как созревший виноградный гроздь, склонялась долу; по колебанию покрывала видно было, что дыхание ее было тяжело и прерывисто; она была одна. Ни словом, ни малейшим движением, она не приветствовала меня; удивление мое возросло еще более, когда старая негритьянка ушла и щелканье ключа доказало мне ясно, что мы были заперты, герметически заперты. Я играл очень жалкую роль, стоя, безмолвный и неподвижный, перед закутанной в фату ханшей.

– Послушай, – сказала она мне наконец, – ты оскорбил меня, тяжело уязвил меня прямо в сердце, ты презрел меня, отказавшись от свидания, за которое бы другие отдали полжизни, отдали бы жизнь свою; ты не пришел на голос Зюльмы, но явился по приказанию ханши; ты был овечкой, вместо того, чтобы быть человеком, благодарю и за то; я и не ждала другого от феринга⁴.

Ты думал, что я зову тебя на ложе любви... и, – Зюльма судорожно смеялась, – тебя... Да простит тебя Аллах! Тебя, бедный, жалкий и бледный, как полинялый, изношенный халат.

Излив свой гнев в самых язвительных насмешках, показывавших ясно, в какой степени было задето ее женское тщеславие, она вдруг замолкла, как бы вспомнив, что не слишком ли уж многое высказала мне. Я выслушал все с хладнокровием, истинно европейским, которое еще более раздражало ее и, когда она перестала говорить, произнес прощальное слово.

– Постой, – воскликнула она, вскочив, как иступленная, и часть покрывала, откинувшись назад при ее судорожных, а может преднамеренных движениях, открыла лицо, исполненное красоты; в нем не было той античной правильности, в которой господствует величие и холодность: ее красота была разнообразна и неуловима, как ярко мечущий брызги водопад; лицо, то бледное как слоновая кость, то покрытое румянцем, глаза черные, как смоль и яркие, как огонь; алые, беспрерывно движущиеся губы и эти стиснутые перлы зубов, – все говорило душе и от души; все в ней было огонь и нега.

– Ты без чувства, без сострадания ко мне, – пусть так; но не за себя я стану просить тебя; выслушай: есть женщина, она также из Ференгистана; молится тому же Богу, которому молишься и ты; так же чувствует, так же думает, как ты, и эта женщина страдает, невыносимо страдает, день и ночь молит своего Бога о спасении, и нет спасения...

– Скажи, что я могу сделать? Выкупить ее, просить хана... я готов.

– Выкупить. просить хана. попробуй вырвать добычу из когтей тигра, когда он почуял запах крови! Эта женщина в руках самого хана, и не сегодня-завтра сделается его наложницей. Надобно его предупредить. слышишь ли, надобно ее похитить и выпустить на волю, как птичку к празднику.

– Ты знаешь мои отношения к хану, ты знаешь нашу дружбу.

– Так где же позор христианке быть наложницей. Все это были сказки. и ты сам, конечно ты добыл для хана эту неверную. Ты мне говоришь о своей дружбе с ханом, которую продашь за теньку, с ханом, который бы тебе давно надел петлю на шею, если бы не боялся

⁴ Феринг – Европейец.

мести. Ты мне станешь говорить о страхе Божьем, торгуя невинностью своей соотечественницы, кяфир проклятый.

– Есть мера всему, – воскликнул я, выведенный наконец из терпения.

– А, ты сердисься! Значит, у тебя есть сердце. Послушай же меня, мой милый, мой сердечный, ведь я тебе не объяснила дела. ты не понял меня, и потому так упорно воспротивился моей воле. Видишь ли, я такая нетерпеливая.

Да, я это ясно видел, и если ханша радовалась, открывши во мне *признаки* сердца, то я сделал не менее важное геологическое открытие, именно, что эта женщина принадлежит к *породе вулканической*, и скорее согласился бы стоять у жерла самого Везувия во время его извержения, чем быть в тогдашнем моем положении. Я очень понимал, чего хотела она, – избавиться от соперницы, которая могла похитить у нее власть над ханом и народом, и для этого избрала меня орудием; тем не менее, однако, эта соперница была христианка, я это знал и прежде, и с ужасом отвергнула все предложения хана. Я был унижен, попран в глазах ханши, которая, не зная и не желая знать моих отношений к властителю Ташкента, не могла объяснить себе моего поступка иначе, как трусостью, а что может быть презреннее трусости в глазах женщины и особенно азиатки, незнакомой с высокими добродетелями Европы, где поступок мой называли бы великим *гражданским героизмом*. Но ханша, казалось, решила на все, чтобы только приобрести во мне ревностного содействителя своей воли. Она ласково взяла меня за руку и усадила возле себя; рука ее, с которой скатилась за локоть рубаха, рука белая и чудно округленная, обвилась вокруг моей шеи, грудь колебалась у моей груди, дыхание ее жгло меня и кружило воображение.

– Ты не бойся, – говорила Зюльма, – тут тебе не угрожает ни малейшей опасности. Мы все устроим: завтра утром ты простишься с ханом, а ночью я пришлю тебе его пленницу, – это уже мое дело как достать ее, – ты зашей ее в тюк, да помести в свои парталы и до рассвета выступай в путь; никто и не догадается, что за товар ты везешь; осматривать вьюков ваших не будут, я это знаю. Так чего ж тебе бояться? А если хан и спохватится на другой день, что ж? Хоть бы и погоню послал за вами, и то не беда: побоитесь защищаться, – бросьте краденую вещь, оставьте неверную, и ступайте с Богом.

– Хан растерзает ее и ты будешь спокойна, – сказал я, едва переводя дыхание от сильного волнения.

Ханша не отвечала, но она глядела на меня с такой ясной улыбкой, что я понял ее ответ.

– А не нужна тебе эта неверная, – променяешь ее выгодно в степи султану Абдул-Хаиру: от него никто не вырвет ее; и я тебе дам денег... Вот, видишь, ты и согласился, светлое солнце моей жизни.

– Нет, я не согласился! – воскликнул я, с усилием расторгая ее объятья, как бы расторгнул цепи в минуту крайней опасности. – Я не согласился, – повторил я, страхась и самой мысли быть участником ее дела и силясь разрушить очаровательный сон, который она навела на меня.

– А, ты не согласился. Ты обманул меня. ты только хотел упиться моими ласками. Так знай же, в них отравы; никто не упивался ими без кары ужасной или без наслаждения райского. Пускай будет моя гибель, но погибнешь и ты. – Она позвала свою негритянку. – Ступай! Зови сюда хана. Пусть видит мою преступную связь с ним, – она указала на меня, – и накажет нас судом Божьим. Что ж ты стоишь? Иди! Зови его, не то я криком своим созову весь свет.

Несчастливая ханша едва могла говорить, задыхаясь от гнева; негритянка сначала сочла ее, кажется, за сумасшедшую, но последняя угроза привела ее в совершенное отчаяние: она хорошо знала, что ожидало ее в таком случае, если бы хан узнал о моем присутствии здесь и с воплем кинулась к ногам Зюльмы.

– О, пощади меня, старуху, всегда тебе верную, пощади себя; умереть страшно, а такой смертью, какую придумает хан. пощади, пощади нас, – вопила она.

Истерический смех и рыдания Зюльмы прервали ее проклятия; изнеможенная напором гнева и ревности, она без чувств упала на землю.

О, как было больно, невыразимо больно глядеть на ее страдания. В ту минуту я забыл о собственном своем положении, а оно было небезопасно, потому что шум, произведенный Зюльмой, мог привлечь ревнивый дозор хана или чуткий слух ее соперниц, которые конечно воспользовались бы этим случаем для пагубы ее. Не знаю, долго ль оставался бы я в комнате ханши, если бы негрityанка не вывела меня оттуда и почти силой не вытолкнула за ворота первого двора, предоставив собственному произволу; но я хорошо знал Ташкент и в лабиринте его улиц отыскал без труда свое жилище...

* * *

На другой день только и говорили в городе, что о христианке, пленнице хана, внезапно исчезнувшей из своей комнаты. Хотя эти толки велись шепотом и с видом глубокой тайны, тем не менее, однако, они были общие всем; говорили, что дьявол похитил пленницу; другие видели, как она порхнула птицей из слухового окна, называли даже колдуна, превратившего ее в птицу, которого хан велел отыскать и повесить. Но люди, более недоверчивые, ташкентские скептики, сомнительно качали головой и спрашивали: «а кровь? Отчего очутилась кровь в комнате пленницы?» Но никто не дерзнул прибавить к этой истории имя Зюльмы. Хана я не видел несколько дней, как ни силился дойти до него: мне было необходимо нужно с ним видаться, потому что жестокости, которыми он ознаменовал эти дни, большей частью разражались над нашими пленными.

Пленница хана была француженка, родом, как кажется, из Пондишери... История жизни ее исполнена происшествий чрезвычайных. Ее коротко знает Вольф, который и теперь живет в Лондоне и наслаждается своим счастьем, такой дорогой ценой купленным.

Несср-Улла Бахадур хан и Куч-Беги (Бухара)

Бухара *эль шериф*, Бухара святая, славная, только и города на Востоке, что Бухара, Бухара рай земной, и мало ль каких эпитетов не прилагают азиатцы и особенно бухарцы, говоря о своем отечественном городе, и мало ль каких сказок не повторяют о нем. Например: повсюду свет нисходит с неба на землю, в одной Бухаре он занимается и восходит к небу; это чудное явление видел сам Магомет, когда неся по поднебесью, сопутствуемый архангелом Гавриилом. Известный персидский поэт, Фердоуси, говорит, Бухара не город, ряд городов. Европейские ученые придают большую важность Бухаре и распространяют влияние ее просвещения не только на Востоке, но даже на старинный запад (Гиббон). Я помню, как Гаммер, в бытность мою в Вене, силился доказать, что в училищах Бухары скрываются целые сокровища книг, особенно по части истории. Да, в Бухаре много училищ, более 300, но все учение в них ограничивается чтением Корана, различным толкованием его текста и богословскими диспутами, которые ведутся по известной форме; это нечто вроде наших старинных бурс; к довершению сходства, бухарские ученики, во время каникул, ходят на заработки, как было некогда и у нас, и тем обеспечивают свое существование на остальное время года, особенно в тех школах, на которые мирская благотворительность не слишком распространилась: что же касается до исторических памятников, то они не могли уцелеть, если бы и были, при тех многочисленных переворотах, которым подвержен азиатский город.

После всего, что мы слышали о Бухаре, конечно не без сердечного трепета приближались мы к ней, отыскивая взорами ряд городов, о которых говорит Фердоуси, и что ж мы не заметили Бухары, пока не толкнулись об стены ее. Правда, роскошные сады, окружающие загородные домики Бухары, сады, дышащие ароматом и негой юга, вполне вознаграждали наше ожидание и навевали отрадой на душу, истомленную единообразным видом пустыни, а мысль о крове, о приюте после трехмесячного странствования в степи, где не видели ни жилья, ни цветущего деревца, где все исчахло под влиянием раскаленных лучей солнца или притоптано набегами киргизов, эта мысль заставила бы нас забыть о самой Бухаре, если бы оглушительный шум не возвестил, что мы уже в *святом городе*, в котором можно полагать до 70.000 жителей. Длинный, почти сплошной ряд стен, местами разрушенных, тянулся вдоль грязной и узкой улицы. Только большие крытые базары, мечети и караван-сарай, лицом к площадям, разнообразили город, да арки, дворец Хана, укрепленный и стоящий на высоте во всеувиденье, возвещал о присутствии власти деспотической.

Грустное впечатление сделала на меня Бухара.

Я не стану вам ее описывать в подробностях; после описаний Мейендорфа и Бюрнса, это был бы лишний труд, и остановлю ваше внимание на хане Несср-Улле, который еще не был ханом в бытность Мейендорфа в Бухаре, а Бюрнс не удостоился быть ему представленным.

Несср-Улле, нынешнему хану Бухарии, не более 35 лет; он среднего роста, медленной и важной походки, худ, в лице видно истомление сладострастной жизни, и бледность его выказывается еще ярче от белой чалмы, навитой очень толсто на голове его; небольшие черные глаза его в беспрестанном движении, но если он говорит что-нибудь противное своим чувствам или старается уверить в том, чего никогда не исполнит, то опускает глаза свои в землю, как бы боясь, чтобы в них не прочли его тайной мысли, и набожно поглаживает свою окладистую, прекрасную бороду⁵.

⁵ Портрет его вскоре будет отлитографирован (1843).

Бухарцы говорят, что он храбр, как лев; – эта добродетель идет всегда впереди прочих в Азии; – правда, он лично водил войска свои несколько раз на Кокан, но поведение его в последнем походе при Пишагаре не доказывает в нем большой храбрости. Страсть к славе, к завоеваниям, в нем есть, и он далеко не похож на тех ханов, которые проявляют власть свою одним насилием и тиранством, живут в серале и умирают на виселице. Несср-Улла сделал много добра Бухарии. Устройство артиллерии и регулярного полка в 1000 человек (сарбазов) оказало ему чрезвычайную пользу в войне с коканцами. Но всего ярче проявилась сила его характера в низложении Куч-беги.

Куч-беги представлял характер совершенный в восточном роде; он ни в чем не изменил себе в течение всей жизни, и самый опытный романист не мог бы создать столь полного характера, не мог бы выдержать его так постоянно от начала до конца. Куч-беги был первым министром при покойном отце хана, Мир-Хайдере и пользовался неограниченной его доверенностью. Умный, хитрый, вкрадчивый, корыстолюбивый, суеверный, властолюбивый, он не щадил никого для достижения своей цели, все и всех считал он за средства, которые мог употреблять по произволу, лишь бы они давались ему.

Властвовал собственно Куч-беги, а Мир-Хайдера тешил он призраком власти и названием хана, но тем не менее надобно было его непрерывно тешить или усыплять, чтобы он не очнулся и не поступил с ним так, как поступил впоследствии Несср-Улла.

Происшествие, которое я сейчас расскажу, отчасти выказывает характер Куч-беги. Он был нездоров и невесел, когда ему сказали, что в Бухару пришел феринг, европеец, а зовется Мартын. Куч-беги, без дальнейших исследований, велел феринга посадить *в яму*, а деньги и имущество у феринга отобрать. Вслед за тем доложили, что у феринга ни денег, ни какого вещественного имущества не оказалось, а есть какое-то особенное, которое он покажет самому Куч-беги. Позвали феринга.

Мартын, – не станем называть его по фамилии, тем более, что он известен во всей Средней Азии под именем Мартына и едва ли сам помнит свою первоначальную фамилию, которую он менял по произволу, – Мартын родился в Галиции; кое-чему учился, кое-что наследовал от *почтенных* своих родителей, и с этим незначительным запасом покинул родину и отправился в путь; переходил из города в город, из страны в страну и, наконец, очутился в Лагоре, медиком в армии магараджи Реджид-Синга. Не подумайте, однако, чтобы он принял это звание, потому что был к нему приготовлен; вовсе нет! Он так же точно согласился бы быть инженером или артиллеристом, если бы ему предложили то или другое. Все это было дело случая. Мартын поступал по немецкой пословице: Бог дал место, даст и ум! И, действительно, Мартын, покровительствуемый генералом Вентурой, был отличным медиком, скопил себе небольшое состояние и жил припеваючи, как вдруг попал в известную историю, которая была между генералами Вентурой и Куртом за карету, единственную карету в Лагоре, поссорился со своими покровителями и должен был оставить владения магараджи. В Индии ему нечего было делать и он пробирался на северо-запад, в Среднюю Азию, не зная ни края, куда шел, ни цели, к которой стремился. Он имел в виду только одно, что в Европе без денег плохо, а приобрести их трудно.

В Кундузе, хан Мурат-бей, как водится, ограбил его и выбросил за город, потому что считал его ни к чему не годным. До Бухары дотащился он мирской милостынею.

– Посмотрим, что за сокровище у тебя, – сказал ему Куч-беги; какой-нибудь поддельный камень: знаю я вас, европейцев, но меня нелегко обмануть.

– Мое сокровище – знание! – отвечал твердо Мартын.

Куч-беги, не знавший этой фальшивой монеты Европы, принял слова Мартына за насмешку и пришел в исступление. – Ты смел оплевать мою седую бороду, посмеяться над прахом предков моих... и прочее и проч. – Поток гнева его лился неукротимо; но Мартын выдержал напор его хладнокровно; только когда дело дошло до палок, он сказал, не теряя,

впрочем, своей обычной смелости: «я покажу тебе это знание. Ты болен, я излечу тебя; ты скучен, я развеселю тебя».

Куч-беги укротился: это черт, а не человек, – произнес он. Мартыну только этого и надобно было; ему гораздо выгоднее было слыть чертом, нежели человеком.

Вслед за тем он дал Куч-беги слабительное, и тот выздоровел; принес ему дистиллированной виноградной водки, и Куч-беги, предававшийся втайне запрещенному напитку, не мог надивиться искусству феринга. Мартын дал ему еще какого-то снадобья, за которое старик благодарил его более всего. – Словом, судьба Мартына совершилась. С этих пор начинается длинный ряд его проделок, о которых мы еще будем говорить.

Куч-беги любил деньги не как средство, а как цель; любил в них металл, звук, форму, нередко безобразную, любил в них все, – а эта страсть, как известно, самая сильная, самая исступленная. Мы уже заметили, что он не щадил никаких средств для приобретения денег, но нередко духовенство, со своим Кораном, разрушало самые бойкие его затеи. Так, однажды, он хотел увеличить пошлину с привозных товаров, но муллы ему доказали ясно, что Коран претит брать с товаров мусульман более одного процента с тридцати, и он должен был ограничиться налогами на одних кяфиров, но и тут оказалось важное неудобство. Армяне и индийцы, принимавшие важное участие в торговле Бухарии, особенно первые, должны были избрать другой путь своей деятельности, и Бухара, считавшаяся первым рынком Средней Азии, начинала утрачивать свою торговую важность, а это относилось к Куч-беги лично, потому что он был первым купцом в городе, по преимуществу, купеческому.

Главнейшая отрасль доходов Куч-беги состояла в косвенных поборах. Он тщательно подстерегал богатых купцов, и едва кто-нибудь выказывался из толпы, немедленно являлись на него доносы или в несоблюдении правил веры, или в употреблении запрещенного Магометом напитка, или в обмеривании, обвешивании и проч., улика всегда была наготове, и только значительный выкуп, и нередко конфискация всего имущества, спасали жизнь виновного. В Бухаре все ходили только что не в рубищах, повесив головы, набожно поглаживая бороды и бережно затаив свои мысли, не только поступки; но и тут Куч-беги находил своих жертв, и в этом случае Мартын был деятельным его помощником. Он имел тесные связи с бухарскими евреями, по единоверию ли, – не известно было, за истину какой религии он придерживался, – или единомыслию, и через них выведывал о богатстве и тайных поступках бухарских подданных; но, наконец, и эта мера налогов не могла же быть неистощимой; правда, хан мало обращал внимания на повсеместную, особенно наружную бедность; он ханжил и довольствовался тем, что видел мечети, наполненные народом, а благословения ли воссылают они, или проклятия, – он об этом не справлялся; худо было то для Куч-беги, что многие действительно обеднели, другие оставили Бухару. Он позвал Мартына.

– Ты осел, а не мудрец, – сказал он ему, – и золота тебе не выдумать, мне сказал Сикендер, (Бюрнс, которого Куч-беги уважал) так научи, как приобрести его. – Мартын давно придумал одно очень затейливое, по его мнению, предприятие, которое сильно отдавалось Европой и только дожидался случая, чтобы объяснить его умному визирю.

– У вас, в благословенной Бухаре, сказал он, выпивают чаю в день столько, сколько в другом месте не выпьют воды; только и видишь, что чайных продавцов на всех перекрестках, не говорю о караван-сараях. Бухарец слова не скажет, не выпивши чашки чаю.

– Благодаря Аллаха, народ эмира благоденствует; но мне что из того?

– Мелкие продавцы и обманывают, и обкрадывают народ: запрети им эту промышленность, предоставь ее одному себе, или отдай на откуп. – Мартын объяснил, что значит откуп, и сметливый визирь тотчас понял! Глаза его заблестали радостью. – Ты точно мудрец, – воскликнул он. – Но Коран?

– Коран ничего не говорит о чае. – Но Мартын ошибся. Духовенство ясно доказало Кораном, что эта мера противна религии и восстало против нее всей своей силой. Вскоре

помер старый эмир, и звезда счастья Куч-беги закатилась: блестящее предприятие его не удалось.

Мартын со званием доктора должен был необходимо соединять звание астролога, предвещателя и проч. Однажды старый хан вздумал похрабриться и собрать войско против Хивы; ему не хотелось подвергать своей особы опасностям и лишениям похода и он вверил войско начальству Куч-беги. Как было отделаться от этого поручения визирю? Он посоветовал хану спросить у звезд, благоприятна ли будет эта война и каким образом вести ее? Призвали Мартына, и тот, рассмотрев, как следует, небо, отвечал положительно, что поход удастся, но для блага Бухарии нужно, чтобы Куч-беги оставался дома и не покидал кормила государственного правления. – Войско отправилось под начальством какого-то узбека, но не прошло и двух недель, как оно прибежало назад, разбитое неприятелем и гонимое страхом. Хан велел казнить главноначальствующего экспедицией и Мартына; но Куч-беги спас Мартына. «Что ему в своей голове, – возразил он хану, – захочет, найдет другую; ведь он сам дьявол: зачем же наживать его злобу».

Это обстоятельство показало Мартыну всю неверность его положения в Бухаре; а хлеб, добываемый им, был тяжел и горек. Может быть Мартын заглянул и внутрь себя, ведь бывают же эти злосчастные минуты в жизни, и ему стало страшно убить нравственное существование свое, убить надежду на будущее, надежду, единственную утешительницу в жизни... О бедность, бедность, до чего ты низводишь людей! Проповедуйте о твердости, о нравственном величии духа, лежа в бархатных креслах, а низойдите до положения Мартына.

Как бы то ни было, он решился оставить Бухару. Россия ему представлялась еще Азией, только более гостеприимной, в которой было много непочатых рудников для его деятельности, и он решился ехать в Россию. После долгих усилий, Куч-беги отпустил его, но, как водится, велел прежде обобрать его с ног до головы. Мартын, наученный опытом, предвидел это и вручил свой маленький капиталец одному честному еврею, который и возвратил его в целости на границе русской. Не посчастливилось Мартыну и в России.

Судьба Куч-беги совершилась иначе. Молодой хан Несср-Улла, выведенный, наконец, из терпения деспотическими поступками Куч-беги, решился отдать приказание схватить его, но так испугался этой минутной решимости, что выехал за город и окружил себя войском; он готов был отменить это распоряжение, как ему донесли, что Куч-беги уже схвачен и брошен в яму. Имение его было конфисковано, но Несср-Улла оставил на этот раз ему жизнь, по просьбе старой ханши, своей матери. Куч-беги удалился, по соизволению хана, в маленькое, оставленное ему поместье и жил как истинный философ, узнавший всю тщету человеческой власти. Раз, сидя со своими домашними в саду, он увидел целую ватагу приближавшихся к нему вооруженных людей: это мои палачи, – сказал он равнодушно, – и, действительно, это были палачи, присланные ханом. Куч-беги пошел на казнь, так же беспечно, как он ходил в свой сад.

Экспедиция на пути в Бухару и военная экспедиция, действовавшая против Хивы (1839–1840 ГОД. Киргиз-Казачья степь)

Посвящено К-не Ал-не Гер...с.

Мы давно уже совершили обыкновенный караванный переход, но, по просьбе одного из спутников наших, все еще шли вперед, до мест, которые он хотел указать нам, и только около вечера остановились близ Мен-эвлии (в Больших Барсуках).

Вот место наших печальных приключений, сказал он, и когда приветливый огонек осветил и согрел нашу джулому, когда благодатный чай освежил нас, он начал читать свой путевой журнал 1839–1840 годов, памятных в киргизской степи по многим отношениям. Я передаю этот журнал, только, с некоторыми сокращениями⁶.

Глава I

Сборы караванных возчиков. Кочевка аулов Утурали; его затруднительное положение. Разговор с нами. Он вверяет своего сына в вожатые. Отправление Мамбета в отряд, действующий против Хивы. Быстрота сообщений между киргизами.

21 Ноября. Большие Барсуки.

Между тем, как военная экспедиция против Хивы подвигалась к Эмбе, мы, окруженные дозором хивинских посланцев, возбуждавших против нас враждебных киргизов, в течение нескольких дней оставались неподвижными на Больших Барсуках, в аулах Чиклинского рода, или кружили около них, под тем предлогом, чтобы дать время возчикам приготовиться в дальнейший путь, переменить больных верблюдов, запастись пищей и проч., и между тем, как те пировали в своих аулах, их батыри и старшины пировали в нашем караване, воровали и грабили, следуя повсюду за ним со своими аулами.

Пестра и занимательна картина кочевки киргизского аула. С вечера, накануне выступления, в нем спокойно и беззаботно, но завтра приходит все в движение: мужчины вихрем носятся по разным направлениям степи; старшины отыскивают воду и удобные пастбища для становья, сторожевые выглядывают барановщиков, которые предпочтительно нападают во время перехода аула, иные собирают стада, другие, наконец, рыщут для потехи, от нечего делать; между тем бедные женщины снимают кибитки, выючат верблюдов, укладывают на них детей и маленьких ягнят, потом и грязью покрываются в этой изнурительной работе; зато, после, наряжаются в лучшие свои платья, садятся на убранных коней, и длинная вереница верблюдов выступает почти под прикрытием их одних, потому что мужчины, как мы уже заметили, не любят тащиться в шаг верблюда, и тут-то большей частью налетает лихая баранта, и прежде чем всадники соберутся на крик и шум, отхватывает навьюченных верблюдов, лошадей, стада овец, увозит женщин, которые часто бывают предметом этих наездов, и нередко заодно с барановщиками.

После многих переходов, или, правильней, обходов, достигли мы аулов Утурали. Каково же было наше удивление, когда он, после первого холодного свидания с нами, скрылся, и, не смотря на все усилия наши, не смотря на то, что находился почти безвыходно в

⁶ Экспедиция в Бухару, состоявшая из 14 человек, шла при купеческом караване; она выступила из Оренбурга за несколько дней до выхода военной экспедиции против Хивы, когда неприязненные действия между Россией и этим ханством уже начались.

караване, не показывался нам. Наконец, раз, в полночь, он взошел в нашу кибитку со всевозможными предосторожностями, – «я погиб, если узнают о моих сношениях с вами, – были первые слова его, – Науман (хивинский посланец) сторожит нас, и моя безусловная преданность России возбуждает давно его подозрения». Я отдал Утурали письмо от султана-правителя Юсупа и требовал искреннего и решительного совета относительно своего положения.

Утурали сомнительно покачал головой. Это был старик лет 75, бодрый и здоровый, с нависшими седыми бровями, с чертами лица общими «черной кости», но выдававший свое внутреннее достоинство обращением важным и какою-то самоуверенностью в словах. Он пользовался совершенным доверием Русского правительства, имел от него две медали, и не смотря на свое сильное влияние на киргизов, держался между правительствами хивинским и нашим, не возбуждая против себя ни ненависти своих, ни подозрения соседственных властей, из которых одной платил он поголовной податью, а другой истинною, хотя мало-полезной преданностью. Эта двойственная роль, извиняемая его настоящим положением, свидетельствует о его уме и ставит высоко между киргизами. Впрочем, политическая жизнь Утурали еще не кончилась, и будет чудо, если он не испытает превратности судьбы на своем скользком пути⁷.

«Пока в моем ауле, вы безопасны, – сказал он, – никто не захочет нажить себе пожизненной вражды моей и моих детей; но только оставите аулы, я не ручаюсь более ни за что». – «Ведь мы умели отстаивать себя до сих пор», – отвечал я. – «Потому что не было дружного нападения, потому что вы были недалеко от своих укреплений и имели под рукой несколько преданных себе старшин; но чем вы более станете удаляться отсюда, тем положение ваше будет сомнительней. С Науманом идет в Хиву на службу наша молодежь, безначальная и буйная; ей будет весело сослужить хану первую службу и представить ему вас, а если бы не достало для этого наших киргизов, то в ауле Джингази, которого вы встретите, найдется довольно удалцов на такое дело. На караванных людей и на бухарского эльчи, посла, как вы видели, вам нечего надеяться; при первом появлении вооруженного всадника, они скроются в своих джулумах, как было в ту пору, когда окружила вас шайка Акмана».

– В таком случае надо тайно оставить караван и одним прокрасться в Бухару: ты, конечно, добудешь нам хороших вожаков, а, может и сам, захочешь нас проводить.

– Нет, – сказал он решительно, – этого не будет, у каждого колодца на Кизиль-куме сидят киргизы, преданные Хиве, и птица не пролетит, не примеченная ими; а если бы вы и миновали их, то, как вам избежать хивинцев, которые сторожат на всех трех путях между Сыром и Куванью. С правой стороны стоит Бабаджан с 300 хивинцев и каракалпаками, на полдень, прямо, Туджа-Нияз с 350 человеками, большей частью туркменами, а на восходе солнца сам Веиз с хивинцами и целой ордой преданных им киргизов. Думаете ли, что Науман не дал им знать о том, что вы идете в Бухару, и не станет следить вас на побеге? Нет, по-моему, лучше прямо ехать в Хиву, чем делать этот обход, а еще лучше предаться воле Божьей и ожидать от нее решения своей судьбы.

– А, по-моему, не так, – отвечал я, с досадой, – и прежде чем попаду в Хиву, испытаю все средства, чтобы избавиться от нее. Я призвал тебя затем, чтоб ты помог нам, или, по крайней мере, подал мудрый совет в этом деле; а если бы мне нужно было учиться вашей вере в предопределение судьбы, то я послал бы за муллой и не вводил бы тебя в напрасный страх, попасть в немилость Наумана, которому вы здесь держите стремя, когда он садится на лошадь.

– Мудры твои речи, но и в моих есть смысл; скорее Науман станет держать стремя моего седла, чем я его.

⁷ Утурали получил чин хорунжего, за его содействие в нашем деле.

– Утурали, время дорого, – сказал я решительно, – хочешь ли ты доказать преданность свою России, хочешь ли быть полезным нам? Вспомни, я писал с Мамбетом, что мы вполне предались тебе, и что спасение и гибель наша падет на тебя.

Я забыл сказать, что за несколько дней до этого, собрав довольно положительные сведения о движении войск хивинских на Ак-булакское укрепление и о положении дел в самой Хиве, я решился известить обо всем Корпусного Командира, который, с отрядом войск, был уже, по моему расчету, на пути около Биштамака. С этими сведениями послал я Мамбета, как единственного человека, на верность которого мог положиться, хотя присутствие его при мне было не только полезно, но почти необходимо, а поездка его была не безопасна. Действительно, не прошло и часа, как киргизы узнали о его отбытии: поднялась тревога, изготовилась погоня, но было поздно: Мамбет был далеко. Аулы боялись, чтобы он не навел на них русский отряд, и в этом страхе оставался сам Утурали, а потому слова мои сильно взволновали его; старик несколько задумался и потом начал.

– Оставить караван надобно непременно; но куда идти? На Оренбург далеко, и нельзя обойтись на пути без верблюдов, а с ними не уйдешь от погони; на Орск – надо проходить опять аулы Акмана; кроме того вы можете попасть на шайку Кенисары, или его тестя; на Чушка-куль (Ак-булак) и думать нечего: теперь, наверное, хивинские отряды заняли все перепутья к нему, а может сменили русских и в самом укреплении; на Эмбу⁸ всего бы лучше и почти ближе, но туда и погоня будет всего скорее: решайте сами, – прибавил он, обращаясь ко мне.

– Я решил, – был мой ответ. – Остается найти вожатых.

Утурали не спрашивал, какой путь я избрал, постигая всю важность тайны. «Вожатого нечего далеко искать, – сказал он, – я дам вам своего любимого сына, Ниаза, вы его знаете, пускай умрет там, где умрете вы; этим он докажет и благодарность свою к вам, и преданность отца вашему правительству». Я понимал всю святость такого пожертвования и не расточал благодарности, которая, во всяком случае, была бы ниже своего предмета.

Разговор склонился на положение Хивы, из которой недавно приехали в аул базарчи, а в числе их один из сыновей Утурали. Разделяя общее мнение азиатцев о силе Хивы, а более о недоступности ее, он сомневался в успехе нашей военной экспедиции, говорил, что жители в Хиве совершенно спокойны, но в Кунграте было некоторое волнение, когда узнали о приходе русских на Ак-булак; «теперь же, – прибавил он, – и там все утихло, потому что хан послал лучшего своего военачальника и самого любимого человека, известного батыря, (я забыл его имя) с сильным отрядом туркменов и хивинцев на Ак-булак, строго наказав истребить весь гарнизон и срыть укрепление, или засесть в нем самим, ожидая главного отряда русских».

– И ты думаешь, что этот наказ так же легко выполнить, как отдать? – спросил я.

– Нелегко, но туркмены храбры и отряд их велик, а ваш гарнизон слаб и в нем много больных. Вот почему я всего менее советовал бы вам идти в Ак-булак.

– Но почему вы знаете о состоянии гарнизона в Ак-булаке, когда никто из ваших не был в нем?

Весть – залетная птица в киргизской степи; она кружит по ней во все стороны, переносится из аула в аул, в бедную юрту киргиза, скрывающегося в камышах от нищеты, холода и насилия, и, облетав все кочевое племя, перелетает к оседлым соседям. Жадные к новостям, киргизы пируют приезд вестника как дорогого гостя и потом скачут в другой аул, разделить новый пир и нередко получить от хозяина «суэнчу»⁹. Рыская по степи для баранты, или высматривая в свою очередь барантовщиков, киргиз скрывается где-нибудь в камышах, или за горой, прислушивается поминутно к земле, выглядывает малейшие подробности,

⁸ На Чушка-куле и Эмбе были временные укрепления военной экспедиции, действовавшей против Хивы.

⁹ Суэнча – подарок за радостную весть.

нередко прокрадывается к самым укреплениям, проникает во враждебные аулы, где имеет кого-нибудь из друзей или родственников, и, возвращаясь домой, привозит обильный запас рассказов, которые, переходя через тысячи уст, сохраняют удивительную неизменяемость. Таким образом, мы в первый раз слышали от карабашевцев, что хан Внутренней Орды, Джанкир, удостоился получить алмазные знаки ордена Св. Анны 1-й степени: известие это еще не было получено в Оренбурге, при отправлении нашем оттуда.

Утурали подтвердил все слышанное уже мной о положении дел в Хиве. Мы расстались далеко за полночь.

Глава II

Рассказ о Дост-Мухамет-хане одного из родственников его. Мухамет Эвтимиишев; его таинственность. Он предлагает нам свои услуги. Мятёжная жизнь Мухамета и его раскаяние. Мы решаемся присоединить его к горсти своих людей. Ожидание вожакого. Наш отъезд; перестрелка. Приключение.

Ноября 21 дня.

В толпе, провожавшей хивинских посланцев, отличался своими благородными движениями и чертами лица правильными, выразительными, один молодой человек, пользовавшийся наружным уважением киргизов и, видимо, презиравший хивинцев. Задумчивый, чуждый этой дикой ватаге, в которой находился, казалось, более по необходимости, чем по произволу или по рождению, он, видимо, искал встречи с нами.

Раз, ночью, посетил он нас.

– Я авганец и близкий родственник Дост-Мухамет-хана, – сказал он...

Мы еще не знали об окончательной участи кабульского хана, возбуждавшего в то время общее участие: известно было, что изгнанный из своего отечества, где властвовал так долго, где был любим народом, которого спокойствие и мир упрочил правдивым судом и оружием, он решился испытать все средства, чтобы возвратить себе престол, на который был уже посажен англичанами Шах-Шуджа, старый, женоподобный, нелюбимый своим народом. Дост-Мухамет решился вступить в новую борьбу с европейцами, которые умели приковать к себе судьбу «икбал», по понятиям азиатцев.

Мы спросили о Дост-Мухамете. Авганец молчал: глаза его налились слезами, потом кровью, лицо бледное, юное, на котором едва пробивался первый пух, побагровело. Долго не могли мы ничего понять из его отрывистых восклицаний и проклятий; но когда первый гнев, первый порыв его отчаяния опал, он с терпением покорился судьбе, составляющей для магометанина и тяжелый камень, навалившийся на его волю и утешение в несчастии, которое для него предопределено свыше и следственно неотвратимо.

Здесь расскажем мы то, что слышали от авганца и что впоследствии узнали о несчастном хане. Дост-Мухамет оставил родину затем, чтобы вымолить помощь у ханов Средней Азии, из которых с некоторыми состоял в родственной связи. Он склонял их к дружескому союзу против общего врага, сулил успех, тратил свою казну, которую успел захватить с собой: все напрасно. Наскучив обещаниями одного из них, он кинулся в Кундуз. Мурат-бей, некогда славный разбойник, тот самый, который озаменовал себя гибелью Муркрафта, нынче ослабевший, преданный сладострастью и вину старик, говорят, даже сделавшийся кротким, вероятно от нравственного бессилия, Мурат-бей, хотя ненавидевший англичан, думал о добыче более легкой, и в Кундузе Дост-Мухамет был не в безопасности. Раз, сидел он у Мурат-бея, и был печален по обыкновению: «Будем молиться, – сказал хозяин, – бог велик, утешит и наставит нас!» – «Не могу, – отвечал Дост-Мухамет, – слишком печален мой дух». – «Развеселимся», – сказал Мурат-бей и предложил ему ночную вакханалию. Дост-

Мухамет отверг ее. «Чем же мне утешить тебя, моего душевного, моего первого друга». – «Дай войска!» – «Зачем оно тебе?» – «Ты знаешь: выгнать из своего отечества нашего общего врага». – «Стоит ли думать об этих неверных: плюнь на них». – «Подумай, что и тебя тоже ожидает, что уже постигло меня». – «Как, меня, меня... чтоб эти кяфиры, чтоб эти белоглазые Инглезы...» – и хан чрезвычайно расхохотался, а когда, несколько месяцев спустя, английское войско проникло до его владений, он изготовился не к обороне, а к бегству.

Дост-Мухамет, оставив Кундуз с горстью своих и частью узбеков, сочувствовавших его несчастью, проникнул в Гиндо-Куш; тут присоединились к нему многие из преданных ему авганцев и неприятельские действия против англичан начались. Сначала он имел некоторый успех, но нестройная толпа его, волнуемая интригами подкупленных министров Дост-Мухамета, без артиллерии и дурно вооруженная, не могла долго противостоять английским отрядам; близ утеса Пурен-дурага, она была разбита совершенно и разметана в разные стороны. Дост-Мухамет не хотел пережить своего несчастья, но верный слуга спас его от насильственной смерти и увлек за собой. Только вдвоем пустились они в путь, и – как объяснить это? Направились в Кабул, между тем как могли бы опять достигнуть Кундуза или Бухары. Боялся ли низверженный и покрытый стыдом хан купленного гостеприимства своих мнимых друзей или другие причины руководили им, только он добровольно явился в Кабул и сдался пленником англичанам.

Рассказывают очень странное обстоятельство, случившееся в это время с Дост-Мухаметом: на пути, томимый усталостью и жаждой, он остановился, чтобы перевести дух, и поискать где-нибудь вблизи воды, но ни ключа, ни колодца не нашел он, и, изнеможенный, готов уже был сесть на своего доброго коня, как вдруг явился перед ним старик, тот самый, который за два дня до того предрек ему поражение при Пурен-дураге: «Вот тебе вода, – сказал он, подавая турсук; – напой коня и утоли жажду свою: тебе надобно жить, потому что ты будешь царствовать». Старик исчез так же внезапно, как и явился¹⁰.

Во время пребывания нашего в аулах мы встретили киргиза, чрезвычайно замечательного в кругу своего народа. Он взошел в джулуму в сопровождении двоих товарищей своих, и на обыкновенный вопрос: кто он? – просил не спрашивать об имени, пока не узнаем его лично. Эта таинственность не понравилась нам, но хитрый киргиз умел искусно вывести разговор из колеи обыкновенных предметов и в короткое время обнаружить весь свой ум и красноречие, этот дар, по преимуществу, азиатского народа и языка; он приводил для своих доводов подлинником тексты Корана, толковал их не теми софизмами и общими местами, которые избиты в медресе Бухары и Самарканда, но сообразно собственным понятиям, выказывавшим глубокое изучение предмета; коснулся некоторых правительственных лиц в Оренбурге и Петербурге; спрашивал о переменах в образе управления и хитро умел привлечь к себе наше любопытство. Разговор необходимо должен был склониться на наше положение, и он искусно умел накинуть на него самую мрачную тень, «но Бог велик! – прибавил он. – Умоляю вас только об одном: куда бы вы не пошли, что бы не предприняли, не покидайте меня, соедините с собой в одно тело, слейте в одну душу со своей; я пойду с вами вперед, пойду назад, несмотря на то, что там и там меня ожидает одинаковая опасность; останусь здесь, и вместе с вами подставлю под нож свою шею; пошлите одного в «отряд» или в Оренбург с известием о себе, и я поеду, чтобы потом ни было со мной».

Я слишком привык видеть обман и корысть во всех поступках и словах азиатцев, чтобы верить человеку, который скрывал от меня свое имя.

«Я стыжусь своего имени, возразил он, но скажу его, хотя бы вы, после, изгнали меня отсюда, как собаку». – «Стоит тебе присоединиться к врагам нашим, и ты можешь силой

¹⁰ Дост-Мухамет хан теперь на пути в Кабул. Что его ожидает там, неизвестно. (1843).

войти туда, где за минуту, был гостем, хотя дорого вам обойдется это незваное посещение», – возразил я, наскучив его беспрестанными метафорами и отступлениями.

«Не взводите на меня нового преступления: я много пострадал за прежние. Подумайте только, что я скитаюсь в степи несколько лет, без родины и без приюта, питаюсь чужим куском, вдали от своей семьи, от всего, что мило моему сердцу, – я Мугамет Эвtimiшев».

Мугамет Эвtimiшев, родом из внутренней Букеевской орды, был старшим Советником при хане Джангире, безотчетным распорядителем в его доме и орде и другом его сердца. – Не буду вникать в причины, понудившие его к измене. Вмешавшись в мятеж, произведенный в орде племянником Джангира, Каип-Галлием, домогавшимся ханского достоинства, он вскоре сделался главой и двигателем мятежа, но мятеж, после некоторых усилий, был усмирен русским отрядом; Каип-Галли был схвачен, а Мугамет умел спастись. Долго спустя, когда Каип-Галли бежал, при его содействии, из темницы Оренбурга и присоединился с приверженцами своими к шайке знаменитого в то время богатыря Исета, явился и Мугамет, душой и путеводителем Исета, которого имя гремело везде, неразлучное с разбоем, грабежом и самой отчаянной отвагой. Его поступки на границах русских истощили терпение нашего Правительства. Послан был отряд в степь. Он настиг, или лучше сказать, наткнулся нечаянно, нежданно, на шайку Исета... дружный залп артиллерии отбросил киргизов назад. Вскоре, отряд наш оправился от первого замешательства, напал, разбил нестройную толпу и разметал остатки ее. Исета долго прикрывал бегство своих, носясь от одной толпы к другой и метая беспрестанно стрелы в русских; он слишком надеялся на своего коня, но сытый конь загорелся; тогда Мугамет схватил под уздцы его коня и повлек за собой; между тем, казаки приметили и узнали Исета: пули градом посыпались на него, но он оставался невредим; тут только смекнули наши, что он в панцире, стали метить в лошадь и, вскоре, подстрелили ее. Вместе с ней упал Исета; Эвtimiшев употребил последнее усилие, чтобы поднять его и посадить на свою лошадь, но было поздно, – налетевшие казаки изрубили Исета. – Мугамет опять успел спастись.

В общих выражениях, я обещал Эвtimiшеву довести до сведения правительства о его раскаянии и даже ходатайствовать за него, но уклонялся от его услуг. «Вы открыли мне двери раю и оттолкнули от порога, – сказал он, сомнительно покачивая головой. – Знаю, ваше правительство может меня простить, но только тогда, когда я выкуплю преступления важной услугой России или русским. Поверит ли оно искренности моего раскаяния, если вы сами не верите ей, а если и поверит, то возвратит ли мне за эту плату, слишком для него ничтожную, мою родину. На вас была вся моя надежда! Уже представлялись мне роскошные берега Волги, и мой аул, и моя кибитка, уже виделись мне мои жены, дети: все собралось вокруг меня...» Мугамет говорил восторженно, закрыв глаза и едва переводя дыхание. Чтобы переменить разговор, я обратился к другому киргизу и спросил его, так ли пламенно желает он вернуться на свою родину? Он молчал; я взглянул на него пристальнее, и при слабо мерцающем огоньке увидел крупные слезы на глазах его. Боже правды, неужели это притворство! Неужели это не искреннее, глубокое чувство! Я волновался сомнением. Как бы угадывая мои мысли, Мугамет сказал: «Вы боитесь меня, как ножа: я нож, только не обоюдно острый, и буду полезен в руках того, кто умеет управлять им».

Оставить его на жертву раскаяния, если оно чистосердечно, было бы грешно; ввериться ему, избрать своим вожатым, было бы безрассудно. Между тем, надобно было дать решительный ответ. Я приказал ему приехать в 10-ть часов вечера, для того, прибавил я, чтобы не заметили в караване наших частых сношений. «Прикажете приехать одному, или с товарищами?» – спросил он с покорностью. – «Одному».

Настала ночь нашего отъезда. – Зги не было видно, так темна и буранна была эта ночь: все нам благоприятствовало, а вожатый не являлся.

Приезд Мугамета был замечен сторожившими нас киргизами, но он не мог навлечь на нас их подозрения, потому что Мугамет известен был своими преступлениями против России.

Лошади всегда оставались на ночь у прикола, вокруг кибитки, а потому и это обстоятельство не могло возбудить подозрения; в кибитке казаков, прикрытой небольшим возвышением, не раскладывали огня, чтобы свет его, пробившись в отверстия кошом, не мог открыть поля нашего действия: беспокоило нас несколько то, что Араслан, с батырем Исе-том, ночевал в караване, а нам известна была дружеская связь Мугамета с последним. Это обстоятельство, может быть случайное, наводило на него тень подозрения в нашем уме, настроенном к недоверчивости.

Время текло; нетерпение наше возрастало; минуты длились часами. Напрасно выходили мы беспрестанно из кибитки: не слышно было конского топота; вожатые не являлись; только слова «караб-утырь»¹¹ раздавались протяжно и, не умолкну, вокруг каравана, да кое-где, в кибитке, клики пирующих. «Тебе некуда ехать ночью, – сказал я, обращаясь к Мугамету, – ночуй с нами». Тут впервые закралось в него сомнение. Он знал, что мы послали Мамбета в отряд и, замечая наше нетерпение, думал, не ждем ли мы русского отряда и не хотим ли предать его. «Если черная мысль взволновала тебя, – сказал я, – сотвори молитву, возьми к себе эти заряженные пистолеты и ложись между нами». Эвтимиев успокоился.

Было около полуночи; вдруг передняя кошма зашевелилась, приподнялась, и из-за нее показалось таинственно киргизское лицо, озирающееся кругом: это был Нияз, сын Утурали, наш вожатый! Мигом все было готово. Оставалось сказать караван-башу и послу о своем отъезде и поручить им некоторые вещи, хотя мы очень сомневались в том, чтобы они были когда-либо доставлены нам; эта мера была, однако, необходима, чтобы показать совершенный произвол нашего отъезда. – Посол Бухарский совершенно одобрил нашу решимость, но только боялся за нас, и умолял меня убедить наше правительство выслать для охранения его отряд, как будто это легко было сделать. Не так было с караван-башем; если бы к нему явилась тень его отца, он не был бы так поражен, как при моем появлении и особенно при известии, о нашем внезапном отъезде! И было от чего прийти в ужас! Что сделают с ним, а пуще с его товарами в хивинской таможне, где он думал окупить весь караван выдачей нас! Теперь все его планы разрушались... Он было попытался поколебать меня, но видя, что все усилия в этом случае были напрасны, униженно просил забыть о том, что было, уверял в своей беспредельной ко мне покорности, называя себя моим рабом и проч. На все это, я ему шепнул, что если он встанет с постели до утра, не только что заикнется кому сказать о нашем отъезде, то горе ему! Его стерегут в эту ночь преданные нам люди.

Возвратясь к себе в кибитку, я обратился к Мугамету: «Мы едем! Если твое раскаяние, твоя к нам преданность искренны, ступай с нами и разделяй нашу участь».

– «Когда же мы едем?» – спросил он. – «Сию минуту: лошади оседланы и все готово». – «Куда?» – «Узнаешь после». – «Но у меня плохая лошадь», – возразил он.

– «Падет, дадим заводную». – «А где возьму я пищу?» – «Станем кормить тебя». – «Я ваш душой и телом, – сказал он, простирая ко мне руку, – для вас я оставляю своего товарища, которого люблю как сына, для которого я был отцом. Вы не забудете его, если ваши обстоятельства изменятся к лучшему». – Он позвал киргиза Чеку, который оставался при наших вещах, и поручил ему сказать своему товарищу, чтобы он ждал его, ждал лучших дней в ауле Исета. – Горько плакал Чека, расставаясь с нами: бедный, он предвидел свою участь.

На коня! – фыркание лошадей и мельканье теней на горизонте было замечено сторожившими нас киргизами: они подняли тревогу; надобно было торопиться; шум и суматоха

¹¹ *Сиди и гляди*, или сидя гляди; это отклик караванных часовых, соответствующий нашему «слушай».

увеличились; сбежались зрители и действователи, но в совершенной темноте не знали куда обратиться, как преградить нам путь. Мы отправились, и на топот коней раздалось несколько выстрелов. Крупной рысью пронесли мы с версту и, оставив позади себя погоню, крик и проклятия, остановились, чтобы привести в порядок наш отряд, состоявший из 14-ти человек: каково же было наше поражение, когда, по счету, одного не оказалось. Сначала я думал, что не было Мугамета, но он откликнулся на зов; стали всматриваться в лицо каждого: не было переводчика! – Я послал Мугамета отыскивать его вокруг каравана, и вскоре Мугамет явился с отрицательным ответом. Что было делать? Кинуть его на жертву ожесточенной толпы, не попытавшись даже исторгнуть из нее, было незаконно и невозможно по многим отношениям; ехать назад... Еще раз послал я Мугамета, разведать в караване об участии потерявшегося.

Резкий буран сек нас прямо в лицо. Лошади, испуганные перестрелкой и темнотой ночи, фыркали и рвались; погоня, казалось, попала на наш след, потому что крики ее стали доходить до нас. Вдруг послышался конский топот и, вслед затем, показался всадник: это был переводчик! Испуганная лошадь унесла его, было в сторону: он опустил поводья и вверился совершенно инстинкту верного животного, несколько времени носил его добрый конь по степи, пока не слышал фыркания лошадей, с которыми свыкся, и невредимо принес его к нам. «Слава Богу!» – Камень отлег от сердца. «Вперед!» – «А Мугамет?» – Некогда было ждать его. С тех пор я ничего о нем не слышал.

Глава III

Предосторожности наших вожатых; они открывают барантовщиков; еще барантовщики; последние убегают, но первые только скрываются; их хитрости; условные знаки. Барантовщики нападают на нас, но без успеха. Причины и следствия редкого убийства во время баранты. Бедственная ночь. Сайгачники. Чушка-кульский лагерь.

25-го Ноября. – Чушка-кульское (Акбулакское) укрепление.

Степь представляла точное подобие безграничного, взволнованного моря: мы ринулись в него на борьбу с буранами, которые могли смести и сам след существования нашего, на встречу с барантовщиками, этими корсарами пустыни, которые рыщут особенно здесь, на песчаном пространстве, отделяющем Большие барсуки от наших укреплений; угрожаемые хивинскими отрядами, преследуемые погоней Карабашевцев, мы были на стороже денно и ночью.

С рассветом погода прояснилась; оба наши киргиза кружили по возвышениям и зорко выглядывали даль. Вскоре, старший из них, Кул-Макбет, осадил коня и пристально, неподвижно, уставил в одну точку свои, изощренные навыком, глаза; к нему подъехал Ниаз, а вслед и мы.

– Барантовщики! – сказал Кул-Макбет, указывая на горизонт.

– Не Карабашевцы ли?

– Нет, «чернь»¹² не в той стороне. – Мы устремили вдаль свои взоры, но не могли ничего отличить; только самые зоркие из нас приметили какую-то рябь на горизонте.

– Вот один из них едет поодаль, – продолжал киргиз, прищутив глаза, которые он не сводил с предмета своих наблюдений, – вот воротился во всю прыть назад, к своим: они открыли нас.

– Куда они направляются? – спросил я.

¹² Прилегающие к степи жители объясняют этим словом едва приметный, чернеющийся вдали предмет.

– Сначала ехали по тому же направлению, как и мы, а вот, теперь, своротили: или боятся или заманивают нас.

– А сколько их?

– Очень много, – отвечал один.

– Нет, – возразил другой, – их не так много; они гонят табун лошадей. – И между нашими киргизами завязался спор.

– Видишь ли, как тихо идут они: ясно, что возвращаются с баранты; кони устали, а отбитые табуны их задерживают.

– Нет, они едут на баранту и сберегают своих лошадей.

– Зачем они то и дело меняют путь, – видишь, какие узлы плетут по дороге!

– Нечего терять дорогое время, – сказал я, – едем!

Всадники на горизонте скрылись. Мы продолжали путь своей частой рысью, между тем как наши два киргиза дозорили по сторонам. Около полудня, оба они остановились вдруг, уставили глаза свои по двум различным направлениям и потом съехались для совещаний. – Какие новости? – спросил я, видя, что киргизы с жаром разговаривают, указывая то в одну сторону, то в другую.

– Вот, недалеко, утрешние барантовщики, а там, направо, с десятков других скажут во всю прыть в противную сторону: они приняли нас за товарищей тех, и пошли, без оглядки, наутек.

– Постой, – сказал Кул-Макбет, – утрешние то бойки; они верно открыли тех, что теперь так шибко бегут тогда же, как и нас, да сочли их за одно с нами, а теперь, видишь, догадались и стали смелее, хоть убавились числом.

– Куда же они делись? – спросил я.

– Узнаешь после; видишь, сколько тучек над землей: под любой укроются, – сказал он и поехал вперед.

Я не понял ответа, но некогда было требовать объяснений. Через некоторое время, Ниаз, ехавший возле меня, взял мою руку и на пути указал ею в сторону: на горизонте, подернутом темным облаком, вдруг брызнуло несколько искр. Наши киргизы быстро своротили в сторону.

– Куда? – спросил я.

– Там колодец, – сказал один из них, – пора напоить лошадей.

– А что значат эти искры?

– Условный знак.

Теперь я понял прежний ответ Кул-Макбета. На безбрежной равнине, где нет ни холма, ни впадины, ни куста, чтобы укрыться от взоров и преследования врага, киргиз, выдаваемый заживо своей неблагодарной землей, ищет защиты в других стихиях: на темном, неопределенном пространстве нависшей тучи, принимая возможные движения и уловки, он остается не примеченным другими, или обманывает их своими неестественными положениями. В этом случайном и неверном убежище, он часто разговаривает со своими товарищами, рассеянными в разных местах и в подобном же положении, посредством условных знаков, в числе которых самые употребительные те, которые мы сейчас видели. Нужно, однако, всю опытность киргиза и этот инстинкт самосохранения, которым он одарен в высшей степени, чтобы усмотреть, уловить малейшие уловки или условные знаки людей, себе подобных, легчайшее движение природы, угрожающей его свободе или жизни; от этой-то непрерывной борьбы с внешним миром происходит та скрытность и подозрительность, из которых исключительно составлен характер киргиза.

Мы уклонялись более и более от своего направления и вскоре действительно достигли колодцев, вырытых в иссякшем речном русле; эти ложбины нередко встречаются в степи и служат местом приюта и для мирного путника и для барантовщиков. Напоив лошадей, и

описав несколько кругов в степи, мы, наконец, направили коней на свой настоящий путь. По всему видно было, что наши киргизы хотели обмануть бдительность своих антагонистов; но мы имели дело с опытными корсарами этого сухого моря. Солнце уже склонялось к западу, как вдруг, вовсе неожиданно, и не далее как на два ружейных выстрела, вспрыгнул всадник, словно выросший из земли: он и белый конь его, лежавшие на земле, и так сказать слитые в один цвет со снегом, до того времени не были примечены нами. Всадник кинулся стрелой в сторону, и наши испуганные киргизы начали шептаться между собой; не знаю, думали ли они о бегстве, но мы более всего страшились того, чтобы не остаться без путеводителя в бесконечной пустыне? Как бы то ни было, а вскоре один из них обратился ко мне и сказал, что это был сторожевой тех барантовщиков, которых мы уже видели два раза, и что прочие киргизы скрываются где-нибудь очень близко и конечно не замедлят напасть на нас. Мы остановились и, поставив лошадей в кружок, поручили их троим слабейшим из среды нас; с остальными стали в оборонительном положении. Еще не успели мы изготавиться, как из-за небольшого возвышения показались три отдельные толпы людей; в них было всего за 30 человек; легкой и ровной рысью приближались они к нам, и вдруг, рассыпавшись, как брызги от брошенного в воду камня, с гиком кинулись вперед, но с той же быстротой отпрянули, увидев уставленные против них ружья. Они вихрем кружились около нас, осыпая бранью, и требовали наших лошадей, обещая этой ценой дать нам пощаду. Наши киргизы, успокоенные несколько их первым неудачным натиском и нашей решимостью, отвечали им также бранью и клялись не только отнять у них лошадей, но захватить их самих, отцов их и даже дедов, живьем. Они уверяли, что мы только передовые сильного отряда, который несколько поотстал и вероятно поспешит на выстрелы. Конечно, на ту пору, наши вожатые забыли, что мы еще с утра были открыты и сосчитаны нападавшими на нас. И действительно, угрозы их мало подействовали; барантовщики вновь кинулись на нас, размахивая своими длинными пиками, которые почти у всех составляли единственное вооружение, и вновь рассыпались. Вскоре они потребовали переговоров; мы было не хотели их слушать, но Ниаз и Кул-Макбет утверждали очень убедительно, что это было бы противно правилам честной баранты и чрезвычайно невежливо с нашей стороны; вследствие сего вступили в мирные объяснения. Двое из барантовщиков, оставив свои оружия, подошли к нам с изъявлением самой глубокой дружбы, объясняя свое нападение тем, что приняли было нас за киргизов-барантовщиков, и утверждали, что чувствуют ко всем русским неизъяснимую любовь, а между тем измеряли взором наши способы к обороне; эти парламентарии продолжали, что они из рода Назар, преданного России и враждебного карабашевцам, которые отбили у них лошадей: в заключение, вызывались, в числе нескольких человек, проводить нас до укрепления: обман был слишком пошел, чтобы вдаться в него, и мы, отклонив все их предложения, сели на коней и отправились в путь.

– Джигит, джигит, – сказал Ниаз, потрепав некоторых из нас по плечу.

– Если бы теперь с вами было столько ваших, сколько было русских, чтобы вы сделали с этими барантовщиками?

– Кто надеялся бы на своего коня, тот бы бежал, а кто нет, тот отдал бы барантовщикам и коня, и все, что только имеет, до рубахи: добрые люди всегда оставляют рубаху, если не защищаешься против них.

– Лучше же умереть в бою, а может быть еще выйти из него с честью и добычей, чем умереть от голода и холода, оставшись без пищи и одежды, – заметил я.

– В бою против сильного страшно, и смерть ближе; а тут, может еще и добредешь до ближайшего аула или добрые люди на тебя набредут.

Этим объясняется, от чего убийства бывают не так часты между киргизами, как бы можно было ожидать от беспрестанной баранты. За то, как дорого обходится это мнимо человеколюбие тем, кто имеет несчастье испытать его. Сколько раз встречали мы полунагих,

отощавших, избитых и изнуренных киргизов, скрывавшихся от холода в сугробах снега, от неприятеля в камышах, и питавшихся лоскутом найденной ими шкуры или с трудом добываемыми кореньями. Как теперь гляжу я на киргиза, которого мы нашли в камышах, помнится, близ Мугоджарских гор: нагой, он лежал, свернувшись клубком и закрыв голову свою обеими руками; полузанесенный снегом, бедный киргиз так мало походил на человека, что вглядываясь в него очень долго, я никак не мог распознать, что это было за существо! Наконец, откинув его закоченелые руки, мы увидели голову, до того покрытую инеем, что на ней не было заметно лица; только две звездочки глаз его блестели ярко и одни свидетельствовали о человеческой природе. Киргиз в правой руке держал огниво, в левой трут, последнюю надежду, которая могла исчезнуть только с жизнью; мы приподняли его недвижимого; опытные киргизы, бывшие с нами, сказали, что в глазах еще приметна искра жизни, и мы взяли его в кибитку, несмотря на все просьбы киргизов покинуть его: во-первых, говорили они, потому что одним киргизом более или менее – совершенно все равно для них и для нас, а этот же так близок был к смерти; во-вторых, он принадлежал к враждебному им роду. Мы, однако, возвратили страдальца к жизни, которой, впрочем, он не очень обрадовался. Зачем мне ее, говорил он: идти с караваном нельзя, – убьют Чиклинцы; идти в аулы далеко: опять наткнешься на баранту, опять придется по капле выстрадать жизнь, опять начинать ту же чашу, которую я допивал. На вопрос мой: долго ли он был в том положении, в котором мы его застали, бедный киргиз отвечал, что он сосчитал шесть дней, на седьмой стужа увеличилась, окостеневшие руки не могли воспользоваться огнем, единственным благом, которое барантовщики большей частью оставляют жертвам своего грабежа; он уснул и долго ли спал – не помнит.

У киргизов есть пословица: «Убегающий и преследующий равно молят Бога; но Бог помогает тому, кто убегает», а потому бегство даже с самого поля битвы не считается большим преступлением: только бы умел уйти.

Ночь наступала; снег сыпался частыми и крупными хлопьями, а мы все продолжали путь свой; нигде ни пригорка, ни равнины, чтобы укрыться на время ночлега. Наши вожатые часто и сомнительно поглядывали на небо. Наконец, все стемнело. «Надо идти, – сказал Ниаз, видя наше нетерпение. – До Мелюсы недалеко, если угадаем выйти прямо на нее». – «А там что?» – «Старое русло реки. Можно укрыться от бурана». – «А разве будет в эту ночь буран?» – спросили мы в несколько голосов. – «Как знать, что угодно Богу».

Действительно, ветер крепчал, становился порывистей, небо делалось темней и грозней... Поднялся буран; не было возможности идти далее, и мы принуждены были остановиться на открытой отовсюду равнине. Какая ночь! Джюломы¹³ с нами не было; пытались было развести огонь, но мигом разметывало весь кук-пек, собранный с такими усилиями: с трудом можно было держаться на ногах, а между тем, то и дело надобно было собирать лошадей, которых разгоняло далеко ветром. Бедные, они дрожали всем телом и сами жались в кучку, но не могли противостоять всеокрушающей силе бурана. О сне нечего было и думать: прижавшись друг к другу как можно теснее, мы лежали неподвижны, под сугробами снега, которыми то и дело, заносило нас. – Рев и вой доходил до нас глухо, и тем грустнее отдавался в сердце.

Если этот буран продлится сутки, другие? Были единственные мысли, занимавшие конечно всех нас. Скоро ли рассвет? – спрашивали мы беспрестанно, как будто с утренней зарей должны были кончиться и наши бедствия; но и рассвет не приходил; ночь казалась вечностью.

– Светает, – воскликнул, наконец, сторожевой казак, отрывая нас. – Что буран? – Маленько потише.

¹³ Джюлома, походная киргизская кибитка.

Первый взгляд на небо – и яркая, багровая полоса вдоль горизонта возвестила нам, что сильный мороз сменял буран. Мы отправились.

Верст за пять от ночлега, мы переехали Мелюсу, которую с таким нетерпением отыскивали накануне, верстах в 10-ти от нее Аксай, далее Джаинды. Эти сухие рытвины, которые, вместе со многими другими, носят на наших подробных картах названия рек, хотя они наполняются водой только во время весны, и то не всякий год. Характер их везде одинаков: песчаное дно, на котором встречается много окаменелостей, особенно из рода *Candium*, и глинистые, изрытые бока; в руслах попадают кое-где колодцы, отрада путника во время знойного лета; везде природа, лишенная жизни.

За Чаганом, на юго-запад, начинаются возвышенности, которые, восставая, гряда над грядой, все выше и выше, пересекаются крутыми обрывами и ущельями: их особенное строение и ребристый песчаник, усеянный окаменелостями, убедили нас, что мы достигли предгорий Усть-урта. Поднявшись на горный хребет, мы увидели равнину, лишенную всякого произрастения, кроме тощего кустарника и одного рода полыни, которую, впрочем, охотно едят верблюды, равнину, покрытую местами солонцами и щебнем, состоящую из вязкой глины и лишенную большей частью воды, – это Усть-урт; на этой-то пустынной равнине встретили мы признаки человеческой жизни: две-три кибитки, низкие, закоптелые, ветхие, стлались в уровень с землей, под защитой тощих кустарников; ужасный запах распространился окрест их, возле не было ни верблюда, ни даже овцы, – обыкновенного достояния киргиза; над кибитками не вился отрадный дымок; только протяжный вой собак нарушал безмолвие и возвещал о жизни там, где смерть приосенила крылом своим всю природу: «Здесь живут сайгачники», – сказал мне вожатый.

Сайгачники самый несчастный народ в степи; они беднее и жалче тамошних рыбопромышленников. Те и другие бывают доведены до своего состояния только совершенной нищетой; пока у киргиза остается одна овца, он кочует с ней, он счастлив; но рыбопромышленники и сайгачники прикованы к своему месту; для них нет кочевки, нет более радостей в мире. Первые живут близ рек или моря, иногда посещаются людьми, но сайгачники ведут всю жизнь свою в местах диких и уединенных, которые обыкновенно служат путями для сайгаков, во время общего их перехода; здесь-то, осенью, киргизы-промышленники расставляют для них повсюду западни, и во время одной недели запасаются на целый год мясом для пищи и шкурами для своей одежды.

Мы зашли с Ниазом в одну из кибиток. В ней было пусто и холодно. Единственный жилец ее, старик, лежавший на невыделанных шкурах, и ими же закутанный, приподнял голову и обнажил часть своего тела, покрытого струпом и язвами: увидев нас, он опять закутался и уснул. Совершенная апатия в его взорах и поступках показывали ясно, что для него жизнь и смерть – слова ничего не выражающие, ничего не обещающие, и что в нынешнем своем положении он столько же принадлежал первой, как и последней. Грустное, стесняющее сердце зрелище: я поспешил его оставить.

Лошади уставали под нами; едва можно было добиться от них крупного шага, вместо частой рыси, которой мы ехали до сих пор; почасту тот или другой из нас покачивался, вздремнув на лошади. Вдруг Ниаз остановился и неподвижно устремил взоры на другого своего товарища, описывавшего круги вдали от нас, на одном из возвышений: этих кругов было условленное число, и наш вожатый радостно закричал: «Суюнча, Суюнча!» – Мы доехали так скоро, как только могли, до возвышения, где стоял Кул-Макбет, и устремили взоры по направлению его руки: вдали, вдали на горизонте, синелась волнистая полоса, словно иззубренное лезвие заслуженного клинка: то был Чушкакульский лагерь. Русские!

Глава IV

Пребывание в Ак-булакском лагере. Общество Гарнизонных офицеров. Довольство среди всеобщих лишений. Уверенность в том, что хивинцы не достигнут до Ак-булакского укрепления и не решатся напасть на него.

10 Декабря. Чушкакульский (Ак-булакский) укрепленный лагерь.

Скучно и длинно тянулось время. Ак-булакское укрепление, построенное с лета, служило, вместе с Эмбинским укреплением, складочным местом для провианта и припасов, заготовленных для военного отряда, шедшего в Хиву. Ак-булак был расположен у предгорья Усть-урта и находился далее, чем на полпути от Оренбурга до Хивы. Первоначальный гарнизон его простирался до 500 человек с казаками и артиллеристами, но впоследствии он уменьшился от больных и умерших. Между тем, частые и самые ужасные бураны довершали разрушение в укреплении: рвы и стены, которыми был обнесен лагерь, сравнялись; употребляли беспрестанные усилия, чтобы очистить, хотя барбетты, а работа нисколько не подвигалась вперед: что делалось днем, уничтожалось ночью.

В этом-то укреплении бивакировали мы. Наши биваки имели ту особенность, что были расположены на глубоком снегу, в походных киргизских джуломах, которые то и дело срывало ветром. Сколько раз, среди ночи, были мы внезапно пробуждаемы проникавшим до костей холодом и, раскрывая глаза, видели над собой, вместо кошомного круга своей кибитки, небо с его неизменным бураном, а вокруг себя заметы снега; бывало, боишься покинуть холодное ложе, чтобы не предать всего себя на жертву бурана, и остаешься под открытым небом, полузанесенный снегом, пока не раскинут опять джулому, (а это сделать не легко во время бурана) и только тогда, как вспыхнет ярко сухой камыш, единственное горючее вещество, которое мы имели, тогда выползаешь из-под тяжелых, мокрых шуб к отрадному огоньку; сколько раз, пригретые им, мы тут же предавались сладкому сну, и за утра находили полусгоревшую скудную одежду, которая еще у нас оставалась; нередко огонь проникал до тела и в соединении с холодом, обдававшим с другой стороны, наводил на спящего невыносимо тяжкие ощущения, словно давление кошмара, от которого трудно было освободиться.

Есть минуты радостей среди постоянных лишений. Во время переезда нашего от каравана до Ак-булака, мы делали по 140 верст в сутки, конечно верхом; чрезвычайная усталость до того заглушала голод, что двухдневного запаса сухарей, который взяли для себя казаки (мы не брали с собой никаких припасов), нам было очень достаточно во время всего переезда, но жажда мучила нас беспрестанно. «Только чай мог бы утолить эту томительную жажду», – воскликнул кто-то из нас с той тоской, с какой говорят о предмете милом сердцу, но навсегда потерянном. «У меня есть сахар», – отвечал один из казаков. – «Есть сахар»! – Это уже казалось богатством для нас, хотя мы еще не знали, какое употребление из него сделать. – «А чаю можно достать», – сказал переводчик. – «Можно достать! Где?» – И мы с недоверием глядели ему в глаза. – «У меня в куржумах (переметные сумы) всегда хранился прежде чай; теперь его нет... но не так же плотно он был завернут, чтоб не просыпал когда-нибудь, и если хорошенько поискать, то верно можно собрать несколько крох». Приступили к делу, и между бельем, сапогами и прочим хламом, действительно нашли немного чаю с примесью разной разности; оставалось одно затруднение: в чем изготовить его? – Но наши казаки и тут умудрились: нашелся заржавленный железный ковш, вещь необходимая для того, чтобы поить лошадей в степи, где колодцы большей частью и почти исключительно заменяют проточную воду; в этом ковше вскипятили воду, заварили чай и из этого же ковша пили его, и конечно никогда в жизни не пили мы его с таким наслаждением, как в ту пору.

Общество наше в лагере состояло из двух или трех офицеров линейного Оренбургского батальона № 2-го, которым мы обязаны радушным приемом, и двух изорванных книг «Библиотеки для чтения», случайно завезенных сюда кем-то из них. Ничем не нарушаемое единообразие навело на гарнизонных офицеров, – конечно не беспечность, но совершенную уверенность в том, что хивинцы, упустившие благоприятное время к нападению на наши малочисленные отряды летом, когда основывалось укрепление, никак не решатся напасть среди зимы на укрепление, уже устроенное, хотя, правда, и разрушенное, как мы заметили буранами, однако снабженное всем нужным для выдержания атаки или осады, чтобы они, наконец, могли пройти Усть-урт и все пространство 600 верст, отделявшее их от Ак-булака, по глубоким снегам, в бураны, для чего необходимы были запасы для них, и особенно для их аргамаков, вообще изнеженных и слабых в дальних переходах: все это требовало некоторого порядка и подчиненности, столь чуждых ордам туркмен и природных хивинцев.

Дело 18-го и 19-го Ноября, при Ак-булаке

Рано утром часовые с редута увидели движущуюся, сероватую массу на горизонте, со стороны Донгустау; ударили тревогу. Между тем, начались разные догадки: говорили, что это русский отряд, которого в то время ждали, что он, вероятно, сбился с пути во время буранов и потому является с противоположной стороны; иные уверяли, что это марево, мираж, и, действительно, призрак, принятый за отряд, вскоре скрылся; люди были распушены из-под ружья и пикеты отправлены на свои места. Вскоре, однако, опять ударили тревогу в редуте, отстоявшем саженей на сто от укрепления, и на этот раз предмет был так ясен, что не потребовал никаких догадок и пояснений, толпы всадников, то рассыпаясь в разные стороны, то вновь смыкаясь в колонны и кучки, обгинали еще вдали укрепление. Этот образ приближения показывал уже несомненно, что то был не русский отряд. Неприятельские толпы мигом взлетели на все окружающие возвышенности, в предположении захватить наши пикеты; но к счастью, снятые во время первой тревоги, они не успели занять своих мест, а потому хивинцы должны были довольствоваться тем, что выставили свои маяки на возвышениях; обскакав потом укрепление несколько раз, как бы выглядывая его силы и средства к обороне, они с гиком кинулись на приступ: «Алла, Алла! Аламан-гау! Аламан-гау!» (Во имя Бога, грудью, дружной) – раздавалось отовсюду! – Но встреченные залпом с двух шестифунтовых единорогов, находившихся в укреплении, и батальным огнем гарнизона, отпрянули так же быстро, как и наскakали; впрочем, они удалились только из-под ружейных выстрелов и на этом расстоянии обложили укрепление, между тем как батыри, носясь на аргамаках вдоль левого фаса укрепления, как более открытого, вели перестрелку с нашими застрельщиками и охотниками. Стоя на барбете с подзорной трубкой, мы любовались беспорядочной пестротой неприятельского отряда; разнообразная одежда обличала состав его: всего более находилось в деле туркмен, менее было каракалпаков, и еще менее природных хивинцев и киргизов, как то доказали впоследствии и собранные сведения. Число всех простиралось до 2.000; при них было пять знамен и два или три отдельные значка. Наш гарнизон едва мог выставить 250 человек под ружье, включая в то число и денщиков.

В течение целого дня неприятель держал в осаде наш лагерь, делая частые попытки к приступу, но всякий раз недружно и совершенно безуспешно. Нельзя не признать личной храбрости многих из туркмен; они мужественно кидались вперед на батальный огонь, но недостаток единодушия и подчиненности уничтожали все их усилия: напрасно возбуждали они других кликами и гиком к общему приступу; большая часть оставалась в почтительном отдалении от укрепления, или разлеталась при первых выстрелах; особенно действие орудий ужасало их: оно приметно наводило на них панический страх.

Видно было также, что туркмены, или старшины их, силой частого упражнения в своих наездах, приобрели, так сказать, инстинкт военного ремесла: они умели открыть слабую

сторону укрепления, совершенно занесенную снегом, и наиболее теснили его оттуда; пользовались пригорком или могилой (мулой), где наскоро устраивали шанцы и вели из-за них перестрелку с укреплением, – и между тем, как одни стреляли, другие заряжали и передавали им ружья; этим заменяли они недостаток хороших стрелков и особенно ружей, которых едва ли было до 200 во всем отряде.

К вечеру неприятель отступил и расположился в шести верстах от нашего укрепления на дороге в Эмбинское. Это было первое дело с хивинцами!

Ночью хивинские разъезды приближались почти к самому укреплению и завязывали перестрелку с нашими часовыми. Нельзя не упомянуть о молодецком поступке двух казаков; они вызвались доставить донесение Командира Ак-булакского укрепления Г. Генерал-Адъютанту Перовскому на Эмбу, и в ночь, с 18-го на 19-е число, три раза пускались в путь по разным направлениям, стараясь избежать неприятельских разъездов или пикетов, но всякий раз были открываемы и преследуемы ими до самого укрепления; раз наткнулись они на самый стан неприятеля; остановились, припали к земле, и до тех пор оставались в этом наблюдательном положении, пока не были открыты; весь лагерь всполохнулся, и казаки на плечах своих принесли несколько туркменских всадников к укреплению: – эти казаки были Мойсеев и Воротников.

Неприятель, расположенный, как мы заметили, верстах в шести от нашего лагеря, оставался в этом расстоянии, изменяя только позицию, до 5-и часов вечера другого дня. Тут двинулся он опять к нашему укреплению, но вдруг приостановился, и, соединившись в некотором порядке вне выстрелов, пробыл здесь около часу, в беспрестанном движении и в каком-то ожидании. Мы видели ясно как, потом, три всадника прискакали со стороны Эмбы, и вслед за тем весь неприятельский отряд понесся по дороге к Эмбинскому укреплению: легко было догадаться, что он узнал о чем-то для него важном и предпринял что-нибудь решительное.

Дело 19 и 20 Ноября, в 15-ти верстах от Ак-булакского укрепления

20-го Ноября прибыл в укрепление, под командой Поручика Ерофеева, отряд, состоявший из одной роты 1-го Оренбургского линейного батальона и 125 оренбургских казаков, и пояснил предшествовавшие движения хивинцев.

Оставив наш лагерь в 6-м часу вечера, 19-го числа, они настигли вверенный Ерофееву отряд, около 7-и часов вечера того же дня, в 15-и верстах от Ак-булакского укрепления, и в то время, когда он располагался на ночлег и еще не успел развьючить всех верблюдов, ударили на него. Нападение было совершенно нечаянное; толпы смешались; между некоторыми из наших солдат и туркменами бой доходил до рукопашного. Поручик Ерофеев спешил устроить каре из вьюков и телег, и между тем как нестройные толпы неприятеля кидались на добычу, на вьюки и верблюдов, он успел окончить свое укрепление, и под его защитой прогнал хивинцев, которые, однако, успели захватить часть наших верблюдов и лошадей. Лагерь г. Ерофеева находился в ложине, представлявшей затишье от буранов и хотя скудный подножный корм. Хивинцы заняли возвышенности, с которых беспокоили его выстрелами в течение целой ночи.

Жадность туркменов к добыче была так велика, что некоторые из них, пользуясь оврагом, примыкавшим к одному из фасов укрепления и темнотой ночи, прокрадывались к вьюкам, составлявшим наружное укрепление и, прильнув к ним неподвижно, прикрыв себя кошмой или каким другим лохмотьем, словно со всеми уловками и хитростью людей, привыкших к ремеслу хищничества, успевали вытаскивать сухари и некоторые вещи; но немногим удавалось возвращаться с добычей! Иные были заколоты штыками наших солдат у самых вьюков, другие настигнуты: пуль на пути.

С зарей вместе поднялись хивинцы и долго молились, вслед затем раздался звонкий голос рожка, и неприятель начал облегать отряд г. Ерофеева. Человек 60 туркменов, спешившись и гоня перед собою верблюдов, приближались под этой движущейся стеной к нашему каре; за ними следовали толпы конных; но с первых выстрелов несколько верблюдов пало; привязанные один к другому, остальные не могли двинуться с места и неприятельские охотники остались открытыми; между тем, вышедшие из-за укрепления наши стрелки сбили и прогнали их, захватив обратно своих верблюдов. Это смешало общий неприятельский натиск: хивинцы действовали недружно, отступили в беспорядке и преследуемые далеко, — не показывались более ввиду русского отряда. Г. Ерофеев без артиллерии, с отрядом, в семь раз менее неприятельского, беспрепятственно снялся со своей позиции, и вечером того же 20 числа прибыл благополучно в Ак-булакское укрепление.

Потеря с нашей стороны состояла из 5-и человек убитых и 14 раненых. Неприятель отступил, не успев даже захватить всех своих убитых, что у туркменов и хивинцев, подобно как у всех мусульман, считается постыднее самого поражения. По всей вероятности, потеря неприятеля в деле с отрядом Ерофеева простиралась до ста человек убитых и раненых.

Описанные мной два дела с хивинцами, незначительные в существе своем, были важны по последствиям, и тем, что ознакомили нас с неприятелем, с которым мы только в другой раз так близко встретились.

Собранные впоследствии сведения показали, что хан Хивы, готовясь к войне с русскими, послал клич к туркменам, каракалпакам и киргизам, и, собрав около 3 т. отборного войска, вверил его своему дестерханджи¹⁴, самому близкому к себе человеку, известному храбростью и благоразумием в народе. Он отдал ему одно приказание, — уничтожить Ак-булакское и Эмбинское укрепления с его гарнизонами, иначе, не возвращаться в Хиву. Весь отряд состоял на ханском жалованье, был плохо вооружен, но на прекрасных аргамаках, на быстроту которых хивинские воины надеются в деле более, чем на собственную силу и храбрость. Он достиг до Каратамака (на Северо-западной оконечности Аральского моря) скоро и довольно благополучно; но, застигнутый сильными буранами, остановился здесь и пробыл на месте около двух недель, изнурил коней, ослаб физически и упал духом; за всем тем, едва миновались бураны, отряд выступил в путь, и на третий день явился близ нашего укрепления, переехав пространство 250 верст!.. Очень сомнительно, чтобы хивинский военачальник снабдил нужным количеством запасов оставшихся на Каратамаке художонных и слабых, которых число простиралось до тысячи человек, но у самого Ак-булака, при его отряде, было несколько заводных лошадей, большей частью с запасом приготовленной для лошадей кукурузы; съестные же припасы каждый имел при себе, или, правильнее, должен был иметь, — у многих их не было.

Я отклонился от своего предмета, и спешу обратиться к нему. Хивинский отряд, отбитый от Ак-булакского укрепления и потерпевший от горсти людей, бывших с г. Ерофеевым, уже не думал идти к Эмбинскому укреплению, где сосредоточились в то время русские отряды, но, прокочевав день-два в окрестностях Чагана, направился, через Каратамак к своим владениям. Застигнутый на пути продолжительными буранами, он потерял большую часть лошадей, и до полуторы тысячи людей погибли от голода и стужи; остальные, большей частью разметанные бураном на пустынном пространстве Усть-Урта, кое-где переждали ненастье и достигли до первых аулов. Сам дестерханджи едва дотащился на чужой лошади в Хиву, где подвергся всеобщим насмешкам и гневу хана, счастливый еще тем, что удержал свою голову на плечах. Так кончилась эта экспедиция.

¹⁴ Дестерханджи в буквальном переводе значит скатертник; звание, соответствующее нашему старинному кравчему; он вместе и главный казначей, который с мяфтером разделяет верховное управление Хивы.

26 Января. Ак-булак

Января 24 прибыл г. главноначальствующий над войсками, действующими против Хивы, и мы были присоединены к его отряду. Последствия похода этих войск всем известны. Мы не дошли до Хивы, но цель похода была достигнута: уstraшенный хан выдал наших пленных и согласился на предложенные ему условия Русского Двора.

Довольно изобразить один переход нашего отряда, чтобы дать понятие о всей экспедиции, о длинном ряде подобных переходов, подобных дней, с небольшими оттенками, в подробностях, на этой картине, и без того, как увидите, довольно мрачной.

В три часа утра бьет барабан; с полчаса потом продолжается тишина; народ завтракает, и вот поднялась тревога; выючка: крик киргизов, единообразный рев верблюдов, громкое командование старших, общее движение, и все это под открытым небом в 26 градусов мороза или в буран, где зги не видно перед собой, и все это ночью, на глубоком снегу, на открытой отовсюду пустыне. Еще барабан: это 5 часов, иногда несколько позже; колонна выступает. Казаки Оренбургского регулярного полка, без выюков, едут впереди в восемь, десять рядов и прокладывают восемь, десять тропинок в снегу, где на каждом шагу тонут лошади и где люди, обыкновенно, спешиваются и помогают им в тяжелой работе; передовые, выбившись из сил, сменяются: это самая утомительная борьба с природой; каждый шаг надобно брать грудью. За этим передовым отрядом тянутся в восемь, десять «ниток» выючные верблюды длинной, бесконечной вереницей, перемежаясь то артиллерийскими орудиями, из которых некоторые идут в голове, то батальоном линейных войск, то сотней уральских или оренбургских казаков. Арьергард, идущий в некотором отдалении, подбирает остальных верблюдов, или, по крайней мере, собирает с них выюки. Работа едва ли легче работы авангарда, который имеет ту выгоду, что приходит гораздо ранее на место.

Утомленные верблюды, особенно во время бурана, валятся на каждом шагу, – а, заметьте, за тропой, которая шириной ровно в верблюжий ход, сугробы снега, – и вот бедный верблюд пал, около него раздаются проклятия киргиза погонщика, удары сыплются градом, но бедное животное бесчувственно к ним, и только, когда весь отряд от него удалится, верблюд болезненно вытягивает шею, озирает пустыню и вновь склоняет голову, предвидя горестный конец свой: через несколько минут его заносит снегом, но жизнь надолго еще остается в нем, если не набредут на него стаи волков, следящих за экспедицией.

Буран или мороз, нередко доходивший до 30 градусов, были попеременными и всегдашними спутниками отряда. Следуя за длинной вереницей верблюдов, в голове, которой не видно конца, не имея возможности ехать рядом вдвоем и разговаривать (да и не до слов бывало) на досуге изучаешь высокие добродетели одного из полезнейших, из «величайших» в мире животных – верблюда и учишься у него величайшей в мире добродетели, терпению.

Около 3-х часов пополудни останавливается отряд: новый труд. Нужно расчистить сугробы снега для кибиток, для подножного корма верблюдов и лошадей, и, наконец, для ночлега верблюдов, у которых только было и неги, что их на ночь клали на земле, а не на снегу; нужно добыть топлива, а это топливо, большей частью, составляли корни растений, замерзшие, едва тлеющие на огне и наполнявшие кибитку удушливым дымом, вместо отрадного огонька. Впрочем, случался и яркий огонь на ночлеге, и это была роскошь, которой, конечно, вы не постигнете.

Весь отряд подвигался большей частью тремя колоннами, шедшими, на расстоянии обыкновенного перехода одна от другой. Обыкновенным хорошим переходом считалось 15 верст, но случалось в полсуток пройти 2 и 3 версты. Важнейшей помехой в этом деле был буран.

Во всем отряде было более 12.000 верблюдов. Разделите это число хоть на десять рядов с необходимыми промежутками для вершников, и вы легко себе представите, какую бесконечно длинную линию занимали они.

Английские офицеры в Средней Азии

Около этого времени несколько офицеров английской, королевской и Ост-индской, службы проникли в Среднюю Азию, и между тем как К. и Г., офицеры экспедиции шедшей в Бухару, бедствовали в Больших Барсуках, участь их была еще горче в разных городах Средней Азии. Все эти люди имели сведения друг о друге через туземцев; положение, общее всем им, заставляло принимать участие одного в судьбе другого; случалось даже, что вещи, отнятые туземцами у одного, выручались другим и служили ему грустным напоминанием прошедшего и зловещим знамением будущего. Впоследствии, некоторые из этих людей сошлись, и двое из них только для того, чтобы умереть вместе под ножом убийц.

Капитан Коноли, – тот смелый Коноли, который лет десять тому назад, после многих приключений, прошел через Туркменские степи, – томился в неволе в Кокане, и странным образом спасся на этот раз от казни. Его привели во дворец хана, и мулла, лично к нему неприязненный, начал убеждать его принять магометанскую религию. Коноли, вероятно, догадывался, что в соседней комнате скрывался сам хан и слышал его разговор: когда мулла, после долгих разглагольствований потребовал от него решительного согласия на перемену религии, заметив, что сам Магомет в это время слышит его ответ и что кара его готова, если этот ответ будет отрицателен, Коноли отвечал с твердостью: если Магомет будет слушать ушами хана, то он действительно узнает немедленно мой ответ; если он будет действовать по внушению муллы, то он, Коноли, уверен, что кара уже готова для него; но что если Магомет так велик и правосуден, как говорит мулла и Коран, то сам внушит, что ему делать. – Ответ этот был принят ханом, как свыше вдохновенный, Коноли был спасен.

Впоследствии Коноли пробрался в Бухару; здесь нашел он полковника Стотгарта, который, чтобы спасти себя от казни, уже принял магометанскую религию и даже получил позволение оставить Бухару; он уже готовился к отправке на русскую границу с одним из купеческих караванов, приезд Коноли и подозрительность хана заставили остаться в Бухаре. Вскоре он, Стотгарт, был опять посажен в яму, также как и Коноли, а когда хан узнал, что англичане оставили Авганистан, то, не боясь более их мести, велел зарезать обоих. Коноли, не смотря ни на какие пытки, не принял магометанской религии; тот и другой умерли с твердостью, удивившей бухарцев.

Стотгарт состоял при английской миссии в Персии и оттуда проник в Бухару. Когда он представлялся хану, то двое из почетных узбеков, согласно этикету бухарского двора, взяли его под руки, чтобы представить пред светлые очи хана; это делается под видом уважения к представляемому лицу, но более для того, чтобы овладеть его руками и таким образом обезопасить особу хана от всяких бед. Конечно, приемы бухарских «придворных» были не совсем ловки и приветливы, и потому не мудрено, что Стотгарт принял их за насилие своей особы и личное оскорбление; он освободил свои руки и, выхватив обнаженную шпагу, стал в оборонительное положение. Поднялась тревога, но хан казался довольно покойным; наконец, когда успели объяснить Стотгарту, с какой целью его взяли под руки и все пришло в порядок, хан заметил ему насмешливо: неужели он один думал противостоять всей Бухаре и силой выручить жизнь свою, если бы ей угрожала какая-либо опасность. – «Я о жизни и не думал, – отвечал Стотгарт, – но я спасал свое доброе имя от упрека, спасал честь нации, оскорбляемой в моем лице, и не потерплю никакого насилия, пока в состоянии владеть руками». – «А кто узнает о твоём поведении, которое будет стоять тебе жизни, кто одобрит его?» – «Мое собственное, внутреннее убеждение!» – Хан долго смеялся над этим ответом и несколько раз повторял его своим приближенным, как отличную пошлость, сказанную европейцем.

Казнь английских офицеров была для них милостью сравнительно с той пыткой, которую они терпели в яме. Вот какого рода эти ямы, достойные сатанинской мысли; в них предварительно распложают клопов до того, что вся яма наполняется ими, томят их голодом, и потом опускают туда несчастную жертву... Вообще, изобретательность азиатцев проявляется вполне в вымысле различного рода казней. Недавно ташкентский визирь, желая отомстить за что-то одному своему родственнику, зарыл его, живого, в землю по шею, выбрил ему голову, намазал ее медом и таким образом, среди знойного лета, предал его на жертву всем насекомым. Капитан Шакспир, о котором я сейчас буду говорить, рассказывал следующее: Один туркменский старшина, – если не ошибаюсь, – зарыл, также живого, по плечи своего брата, и, обвинив вокруг его шеи веревку, другим концом ее взнуздal лошадь. Употребив, таким образом, шею своего брата вместо прикола, он гонял вокруг нее лошадь до того, пока веревка не перетерла совершенно шеи и голова не отделилась от туловища.

Коноли был одним из самых смелых путешественников, какие когда-либо бывали. Умный, опытный, находчивый в беде, он не раз выручал жизнь свою из крайних опасностей; но не любил он этой жизни, и потому вновь подвергал опасностям и вообще тратил ее как ни попало. Надобно, однако, сказать, что есть великое наслаждение в этой борьбе с опасностями, из которой выходишь победителем.

Капитан артиллерии Ост-Индской кампании, Аббот, был послан с поручениями Мек-Натена в Хиву; там он был по временам честим, по временам в подозрении у покойного хана, и, наконец, когда русская военная экспедиция, действовавшая против Хивы, уже была на обратном пути в Оренбург, Аббот пустился туда же, через Усть-урт. На пути, еще у южных предгорий Усть-урта, он попался в плен к киргизскому батырю Исету.

Исет, в свое время, был нашим врагом и приятелем, и я должен сказать о нем хотя несколько слов.

Исету не было еще 20 лет отроду, когда он уже приобрел себе славу в степи и общее уважение между своими, хотя по рождению принадлежал к «черной кости».

Здесь я должен сделать опять отступление, чтобы пояснить различие между «белой» и «черной костью» в Киргизской степи, для тех, кому это неизвестно.

К «белой кости» принадлежат все те, которые ведут свое поколение от Чингиса. Они именуются султанами. Это аристократия степи. Султаны, особенно дочери их, избегают родственных связей с плебеями, пользуются некоторыми наружными почестями и только, – если личными своими достоинствами не заслужили доверия в народе. Прежде, когда были ханы в Киргизской степи, султаны по преимуществу пользовались правом избирательства в ханское достоинство. Теперь русское правительство вверяет им разные должности, и только выбранных «белой кости» утверждает султанами-правителями, заменившими ханов в Орде; оно даровало им некоторые особенные права и вообще оказывает им отличие перед народом. Число султанов невелико.

Жена – калмычка составляет предмет пламенных желаний всякого среднеазиатского магометанина, и народ должен был нередко отказываться от этой добычи в пользу султанов, тем более, что калмычки, по его понятию, улучшают породу «белой кости»; особенно во время известного бегства калмыков из России в Жюнгарию, султаны запаслись женами калмычками. От них-то заимствовали потомки эти резкие черты монгольского племени. С первого взгляда угадаете их по выдавшимся скулам и нижней части лба, которая до того впала, что если проведете по длине его линию, то она непременно коснется двух оконечностей глаз.

Между султанами и народом, или между «белой и черной костью» есть еще одно сословие, непринимавшее первую и отвергающее последнюю: это «хоаджи», которых не должно смешивать с хаджи, поклонниками, совершившими путешествие в Мекку. Хоаджи ведут родословную от Фатимы, дочери Магомета, и считают свое происхождение древнее и славнее происхождения султанов; за всем тем не пользуются особыми преимуществами

ни в народе, ни перед русским правительством. – Есть еще рабы, торгоуты, племя жалкое, ничтожное в нравственном отношении и малочисленное.

Исет был сложен как Геркулес; его атлетические формы, его дикая красота и приемы, полные отваги, могли поразить европейца и имели сильное влияние в кругу его соотечественников. О нем рассказывают множество анекдотов: вот один из них. Исет как-то увидел в улусах Кул-Мухамета его дочь, и был поражен ее красотой. В то время он мог бы легко добыть ее себе в жены; но, не подстрекаемый препятствиями, вскоре совершенно забыл прекрасную султаншу. Прошел год: два рода, Кул-Мухамета и Исета, поссорились и повели между собой кровавую вражду. Исет батырствовал; женщин он презирал, как существа, с которыми была связана мысль, хотя о временной оседлости, хотя о легких для киргиза путях; а Исету нужны были свобода и простор безграничные.

Однажды, под вечер, приехал к Исету кочующий купец, гость желанный, вестовщик неистощимый; гостеприимный батыр честил его от души, а купец говорил не умолкая. «В ауле Кул-Мухамета будет такой пир, – сказал гость, – какого давно не было в степи». – «А что?» – «Кул-Мухамет отдает замуж дочь свою». Исет смолчал, но судорожное движение лица его показывало ясно, что эти слова глубоко уязвили его. Через несколько минут он вышел из кибитки, позвал к себе двух верных и надежных товарищей и спутников баранты, и еще до рассвета, все трое о-дву-конь, были они в ауле Кул-Мухамета, находившемся верстах в 70 от аула Исета. Это было в темную осеннюю ночь. Припав к земле, Исет ползком подкрался к юрте, где, как он полагал, была его красавица, и вскоре вышел оттуда с ношей на руках; похищения нельзя было сделать втихомолку: поднялась тревога, но товарищи Исета увлекли за собой погоню, а сам он беспрепятственно достиг до своей лошади, скрытой за бугром. Еще минута, – и он сидел верхом, привязывая к седлу свою драгоценную ношу; как вдруг, при возникающей заре, он заметил, что на руках его была полуживая старуха, олицетворенное безобразие; он готов был кинуть с размаха оземь это жалкое существо, но счастливая мысль мелькнула перед ним и он пощадил его. – «Укажешь ли ты мне кибитку и ложе дочери султана?» – «Укажу».

Исету некогда было ожидать, пока уляжется взволнованный народ; оставив одну лошадь на месте и посадив на другую старуху, он отправился за ней на новый подвиг. Вскоре его заметили. Ударив нагайкой лошадь и гикнув на нее, он припал к земле, и между тем как лошадь неслась со своей жертвой, ясно отражавшеюся на просвечивавшемся горизонте и увлекала за собой погоню, Исет добрался до желанной кибитки и на этот раз не ошибся.

На другой день, в ауле Исета славили подвиг его и добытую им красавицу, которая не только не печалилась о своей участи, но гордилась тем, что стольких опасностей и жертв стоила своему мужу властелину.

Аббот был ограблен, избит, изранен; сопровождавшие его авганцы были разобраны киргизами по рукам; жизнь Аббота висела на волоске, но подоспевшие вовремя туркмены, охранению которых он был поручен хивинским ханом, выручили его и проводили в наше Ново-Александровское укрепление, находящееся, как известно, на восточном берегу Каспийского моря; отсюда, больного, привезли его в Оренбург, где он оправился и через Петербург возвратился в Лондон.

Киргизы, бывшие с Исетом, рассказывают странный случай, которому может быть Аббот обязан жизнью. Исет счел его за русского, принадлежавшего к тому военному отряду, который наказывал окрестных киргизов за разные их преступления; боясь в свою очередь заслуженной кары, он всячески допытывался через авганцев, понимавших по-татарски, где находился в это время отряд? Аббот, полагая, что он спрашивал об отряде туркменов, сопровождавших его, указал на Юго-Западе.

– В стороне Хивы! – заметил насмешливо Исет, предполагая явный и дерзкий обман в этих словах, – хорошо, я пойду на встречу к нему, – и, действительно, наткнулся на туркменский отряд, о котором мы говорили.

Здесь бы место рассказать о приключениях того авганца, который вез довольно значительную сумму денег Абботу из Герата; но это отвлекло бы нас слишком далеко от предмета.

Поручик Сир Ричмонд Шакспир, нынче капитан, жил в Герате, и судя потому, как он заботился о внутреннем хозяйстве своей квартиры и приспособлении возможного в ней комфорта, должно было полагать, что он располагался прожить здесь долго и спокойно, как вдруг получил через майора Тодта приказание ехать в Хиву; инструкция Мек-Натена была предназначена для Аббота, но так как в Герате уже знали об отбытии Аббота из Хивы, то она была вручена Шакспиру. 11-го мая 1840 года, он получил приказание, а 13-го мая, простившись с другом своим, визирем Бар-Мугамет-ханом, отправился в путь.

Он совершил свое путешествие смело и удачно, чему, конечно, много способствовали тогдашние обстоятельства. Я не упоминаю о тех неприятностях, которые он иногда терпел от попутных туркменов; даже не вижу большой беды и в том, что он однажды со своими спутниками сбился с пути, где были колодцы, и, таким образом, несколько времени томился жаждой в самую пору зноя, – это неизбежные приключения путника в степях среднеазиатских. К тому же, туземцы с удивительным инстинктом умеют находить воду везде, на неглубоком расстоянии от поверхности, разумеется, воду тухлую и очень неприятную для вкуса, но уж такая там везде колодезная вода, и волей или неволей, а путник привыкает к ней, благословляя провидение за этот небесный дар пустынь.

Происхождение этой воды уже обращало на себя внимание некоторых ученых, составляя, действительно, чудное явление природы. Может, не всем известно, что в степях киргиз-казаков и туркменов, и во многих других в Средней Азии, где равнины не имеют никакого склона ни на поверхности, ни по внутреннему своему строению и образуют как бы котловину, в этих местах, лишенных совершенно проточной воды, безжизненных и раскаленных полуденным зноем, – туземец почти везде находит воду, часто среди песков и солончаков, на глубине одного или двух аршин; эта вода, как мы заметили, большей частью тухлая, находится всегда в незначительной массе, легко исчерпывается, видимо, не имеет никакого значительного истока или прибыли, содержит много посторонних веществ и носит все признаки застоя. – Откуда взялась эта вода в помертвелом остане природы, не оживляемом потоками, где даже небесная роса не всегда спадает в течение лета?

Я уже имел случай привести свои догадки по этому предмету; нынче, дальнейшие обследования дела и некоторые данные, позволяют мне дать большую степень вероятия своим предположениям и изложить их с некоторой точностью.

Вот, каким образом, изъясняет полковник Кодацци (Codazzi), в своем чрезвычайно любопытном обозрении области Венесуэлы, Южной Америки, происхождение многочисленных Американских рек, берущих свое начало среди пустынь и составляющих исключительное явление природы, принадлежность степей. Прежде, желая непременно определить начало этих рек, помещали, у истоков их, кряж гор, и, таким образом, очень натурально объясняли себе происхождение вод. Горы эти приходились среди самых льяносов (американская травяная степь, отличающаяся от саванн своей сухостью). Кодацци не находит гор в льяносах, но говорит, что там образуется большая плоская возвышенность, plateau, изменяющаяся от 130 до 200 футов в высоту. По покатам ее струится множество ручьев, едва приметных в тени маврикиевых пальм (*Mauritio flexuosalia*); эти ручьи растут на пути без всякого видимого притока вод, и вскоре образуют судоходные реки, – явление, противоречащее с первого взгляда всем известным законам, но которое Кодацци объясняет геогностическим образованием страны. Поверхность этих плоских возвышенностей представляет вообще песчаную почву, покрытую высокими травами, свойственными американским саваннам; в течение

ние зимы, дожди, столь частые в эту пору, проникают чрез рыхлый слой песка до глинистой почвы, на которой покоится он, и там останавливаются, удерживаемые ее плотностью. Этот запас воды пробирается по всем скатам и выступает вдоль их краев, образуя на поверхности те ручейки, о которых мы говорили, питает их беспрестанным просасыванием вод через рыхлый песок, и составляет невидимый приток, превращающий эти ручейки в огромные реки.

Таким образом, Кодацци встретился, совершенно для него нечаянно, с мыслью, которой коснулся я, говоря о происхождении подземных вод степей Азии. И здесь нередко, в известную пору года, дожди, не имея истока на плоской степи, просасываются чрез рыхлый песок, составляющий почти повсеместную ее поверхность, и останавливаются на плотной глине, которая образует его ложе. Но воды эти, не имея подземного истока по площади глины, совершенно параллельной поверхности степи и, следовательно, совершенно плоской, находятся в постоянном застое, и только испарением и медленным просасыванием через плотную глину сбывают ежегодную, хотя незначительную дань дождей. Явление это более подтверждается там, где выдавшиеся на поверхность горные пласты представляют некоторый склон для истока воды; таким образом, в горах Мугоджарских, и особенно на Усть-урте, во время дождливой поры, в разрезах гор, где просасывается ручей, видно, как воды скапливаются, не на поверхности песков, но по пласту глины, которой они достигают и потом ниспадают вниз, нередко, при сильном притоке, прорезывая пласт глины до песчаника или мергеля; потом этот ручей течет медленно, не имеет никакого падения на пути, почти всегда выше горизонта подземной водной площади, и, следовательно, не почерпая от нее вод, но теряя свои в песках, чрез которые он просасывается, и редко достигает своей цели; сама Эмба, довольно значительная на пути своем, не достигает до моря и устьем своим исчезает в песках, за несколько верст от него. Вот происхождение тех сухих ложбин и корыт, которые заменяют здесь американские роскошные реки, и которым, как бы в насмешку, придают название рек на всех географических картах.

Шакспир из Хивы прибыл также благополучно на Оренбургскую линию, вместе с русскими, пленными, возвращавшимися на свою родину; отсюда он отправился через Петербург в Лондон, и вовремя поспел в Индию, чтобы участвовать в последней экспедиции англичан в Афганистан, где он был уже в качестве военного секретаря при генерале Поллоке.

Напечатанный Шакспиrom в Blackwood's Magazine коротенький путевой журнал исполнен ошибок, и, конечно, мало прибавить сведений к тем, которые имеем о пройденных им местах; названия многих мест и лиц до того изменены, что очень часто невозможно догадаться, о чем или о ком он говорит.

Замечательно, что Шакспир, отправляясь в путь из Герата, рассчитывал, кажется, на гостеприимство туркмен, и удивляется, что не нашел его; это гостеприимство кочевых народов существует только в воображении поэтов; еще оно соблюдается в отношении к магометанам-единоверцам; но посещение чужеверца уже считается осквернением юрты, и должно быть окуплено или дорогою платою, или, нередко, пленом непрошенного гостя. Все, что в этом случае иногда соблюдается, так это то, что дадут путнику выйти из кибитки и удалиться несколько из аулов, за которыми он уже делается добычей первого догнавшего его, и большей частью того, в юрте которого недавно сидел. Я не слишком верую и в гостеприимство арабов.

Шакспир исчисляет таким образом пройденное им пространство: от Герата до Мерва двести шестьдесят пять миль, от Мерва до Хивы четыреста тридцать две с половиной мили, что составляет, от Герата до Хивы, шестьсот девяносто семь с половиною англ. миль; этот путь он совершил в двадцать пять дней, несмотря на некоторые непредвиденные затруднения. Он прибыл в Хиву в июле месяце, когда там поспевает рис и свирепствует лихорадка, но крепкая натура англичанина избавила его от всех болезней. В Хиве он был честим: этого

требовало положение хана. Хивинцы и теперь не могут без смеха вспомнить, в какое затруднительное положение приходил всегда Шакспир, когда ему надобно было, садясь по обычаю азиатцев на пол, поджать под себя ноги; чрезвычайно длинные и худые, они выставлялись из-под него то в виде сучковатых палок, составляя преграды для всех проходящих мимо его, то описывали острые углы, которые очень беспокоили его соседей; одним словом, ноги Шакспира составляли предмет чрезвычайно затруднительный для него и для его ближних.

В Хиве Шакспир встретил одного из тех жалких авантюристов, которые, из-за куска хлеба, пускаются на край света; кажется, это тот самый, которого мы встретили на пути в Кокан, и которого Кени-Сары, из сострадания или по другим причинам, освободил из плена. Родом он итальянец. Теснимый нуждой в своей благословенной Италии, он поселился в Париже, и, по обыкновению большей части своих одноземцев, стал делать гипсовые статуи; работа кипела у него под руками, но не сходила с рук, и он часто оставался без куска хлеба. Он оставил Париж и побрел в Петербург, надеясь, что там предмет его занятий не найдет соперничества. Но он ошибся: в Петербурге нашел он многих своих земляков, которые, проработав всю ночь, днем бродили по улицам с целой походной лавкой на голове и за всем тем возвращались домой, в свои конуры, с пустыми карманами, пустым желудком и больной головой. Итальянец пустился в Тифлис; здесь он хотя и не нашел соперников, но его статуй никому не нужно было; тут только он убедился, что его ремесло, или художество, как он называл, ни на что ему негодно, и определился учеником к тифлисскому часовых дел мастеру. Постигнув тайну этого искусства, он отправился в Тегеран; о статуях в магометанской земле нечего было и думать, потому что Коран строго запрещает всякого рода изображения, но увы! – Новое его искусство встретило и здесь соперничество, и здесь была неудача нашему итальянцу. – Кажется, с Коноли он отправился в Кокан, оттуда перешел в Ташкент, едва ли не был в Кульже, был в Бухаре, и, наконец, очутился в Хиве, везде преследуемый нуждой, нередко побоями, пленом и угрожаемый смертью, которая два раза уже заглядывала ему прямо в лицо.

Говоря об английских офицерах, бывших в описываемое нами время в Средней Азии, мы не упомянули ни о Бюрнсе, ни о Вуде, потому что первый давно уже находился действующим в Кабуле, а Вуд также уже совершил свое путешествие к источникам Инда и Оксуса.

Военная экспедиция. По закраинам льда, У восточных берегов Каспийского моря

Мы, русские, не любим говорить о себе; велено-сделано, да и забыли о том. Но я возобновляю смелую экспедицию наших уральцев в памяти тех, которые участвовали в ней.

Частые и смелые грабежи, производимые кочующими киргизами Адоевского рода у восточного берега Каспийского моря, истощили терпение нашего правительства и принудили его принять решительные меры к обузданию дерзких корсаров. Нужны были меры грозные и быстрые, несмотря на зимнюю пору, а потому предположено было генерал-адъютантом Перовским снарядить военную экспедицию: это было в конце 1836 года.

Зимняя экспедиция предпочиталась и потому, что восточный берег Каспийского моря, от наших границ и до Мангышлака, лишен воды, которую в зимнюю пору можно было заметить снегом; к снегу же казачьи лошади, породы киргизской, скоро привыкают. Сверх того, в это время года, киргизский скот, от дурных кормов и суровости зимы, изнурен и мало способен к перекочеванию из одних мест на другие, к чему киргизы, обыкновенно, прибегают летом, чтобы избежать встречи с русскими отрядами, посылаемыми в степь для наказания виновных. Но вопрос состоял в том, какой путь избрать для отряда: по льду морем, или берегами твердой земли?

Путь берегом изгибался и уклонялся от прямого направления повсюду; невозможно было пройти пространство, заключающееся от оконечности нашей Уральской линии до Мангышлака, 1200 верст, по дурной дороге, по снегам, не изнузив совершенно лошадей, еще до прибытия отряда на место, где надобно было ему действовать быстро, чтобы застигнуть киргизов врасплох или преследовать их.

Путь морем, по льду, несравненно прямее и легче для лошадей, чем берегом твердой земли, но он небезопасен; порывистый восточный ветер нередко отторгает льдины от самых берегов и уносит их в открытое море, вглубь.

Предпочли этот последний путь, тем более, что он совершенно укрывал наши движения от дозора киргизов и доставлял возможность застать их на месте; положено, однако, было, чтобы отряд, для безопасности своей, держался малой глубины, где лед тверже и редко уносится в море, а, между тем, путь этот к Мангышлаку все-таки значительно сокращался.

Отряд в 500 человек уральских отборных казаков был снаряжен с двухмесячным запасом фуража и провианта, на лучших киргизских лошадях, и так поспешно и тайно, что даже, не исключая своих, все думали, что это обыкновенный наряд казаков на *полинейную* уральскую службу, а не для военной экспедиции.

Начальство над отрядом вверено было полковнику Мансурову, а помощниками ему даны были подполковник Данилевский и адъютант генерал-адъютанта Перовского, лейб-гвардии гусарского полка штабс-ротмистр Челяев, которые, в случае болезни начальника отряда или кого-нибудь из них, могли заменять один другого.

Мы уже заметили, что для достижения цели экспедиции, необходима была быстрота, чтобы киргизы не проведали преждевременно об идущем к ним отряде и не перекочевали в глубь степи, к туркменам или к хивинским границам, и тем не избегли наказания русских, а потому экспедиция не иначе могла состояться, как на лошадях, без верблюдов; каждый казак ехал в санях, в которых находилось двухмесячное его и лошади продовольствие; но по достижении нашего Ново-Александровского укрепления, отстоящего от г. Гурьева около 500 верст по морю, должен был оставить сани в укреплении, и действовать верхом, по усмотрению начальника, на всем протяжении непокорных киргизов, кочевавших в трехстах верстах от Ново-Александровска.

Сборным местом для отряда назначена была станица Сарайчиковская, куда в два дня казаки, снаряженные в экспедицию, собрались из своих станиц, а на третий день, 21-го ноября 1836 года, выступили и пришли 24-го числа в г. Гурьев, откуда отряд должен был идти в поход, по льду, морем. 25-го декабря, по случаю праздника, была в Гурьеве дневка, а 26-го, на рассвете, пользуясь небольшими морозами, от 8 до 10 градусов, отряд выступил в поход, держась в виду берегов, на малой морской глубине, делая переходы от 40 и до 50 верст в день. Лед был гладок, как зеркало, и лошади, подкованные на острых шипах, не чувствовали почти тяжести саней. Ночлеги бывали на льду, большею частью у самых берегов, где рос камыш, вполне заменявший дрова, а вместо воды, во все время нахождения отряда в пути, казаки употребляли снег и лед, к которому совершенно привыкли.

Станным казалось для людей, в первый раз бывших зимой на море, видеть огонь, горевший несколько часов сряду на льду, не разрушая его.

Отряд шел в следующем порядке: трое Гурьевских, опытных на море казаков ехали впереди отряда, в 200 саженьях, и время от времени пробивали лед железными пешнями, измеряя глубину казачьей пикой и стараясь держаться моря не более 1½ или 2 саж. глубины; за ним шел отряд.

Передовые казаки давали знать немедленно отряду, если замечали какую-либо опасность: большие полыньи или рыхлость льду, для обхода которых требовалось иногда углубляться в море или приближаться к берегам, отдалявшим от прямого пути; в первом случае, начальник отряда принимал, сколько в его зависимости было, меры для отвращения каких-либо несчастий. Отряд шел в пять рядов, каждый ряд состоял из 100 саней. В таком порядке он следовал шесть переходов от г. Гурьева морем, без всяких особенных приключений; правда, не было перехода, чтоб несколько раз в день лед, не слишком окрепший, не проваливался под санями отряда. Сначала, пока не привыкли, подобные случаи производили тревогу в отряде, но как они повторялись часто, без всяких дурных последствий, то с ними свыклись до такой степени, что они порождали в казаках общий смех. Когда в отряде бывало закричат, *врозь!* каждый догадывался, что лед под кем-нибудь провалился, и выдвинувшись со своими санями на простор, сам спешил к месту, где нужно было оказывать помощь.

На 7-ом переходе, в день нового года, в 80-ти верстах от Ново-Александровского укрепления, отряд пошел наперерез бухты, глубоко вдавшейся в море, и, таким образом, представлявшей значительный обход; отряд перерезывал эту бухту наискось, избегая, по возможности, глубины моря. Мороз был в 15 градусов; сильный восточный ветер дул прямо в море. Отряд уже приближался к берегу моря, как вдруг, порывистым ветром между 4 и 5-ю сотнею разломало лед и разделило их от прочих водой. Четыре сотни, бывшие с левой стороны, кинулись к берегу, а 5-я сотня, отделенная, таким образом, от отряда водою на 40 саж., осталась на месте, на огромной массе льда, имеющей в окружности несколько верст.

Между тем, как первые сотни выпрягали своих лошадей, чтобы поспешить на помощь 5-й сотни, с ужасом увидели передовых казаков, оторванных ветром, на небольшой глыбе, уносимой в море. Но мы на время оставим этих пловцов на жертву бури и моря, и обратимся к 5-й сотне.

Воспользовавшись минутным затишьем, казаки с удивительной быстротой нарубили и наловили плавающих ледяных глыб: укрепив их одна к другой веревками и пешнями, составили, таким образом, плавающий мост и довели его с берегового льда до глыбы, на которой находилась 5-я сотня. По мере того как льдины ломались при переправе под лошадьми, их заменяли новыми, и к чести уральских офицеров должно заметить, что ни один из них не хотел быть на безопасном месте, пока не переправили, таким образом, всех казаков с тяжестями, и оставались на живых мостах, которые от поднявшегося вновь восточного ветра, могло унести вместе с ними в открытое море. Эта необыкновенная переправа продолжалась

на 2-ух саж. глубины, около 1½ часа, и только двое саней пошло ко дну моря. Обратимся к передовым казакам.

Еще за несколько часов времени до того, как 5-я сотня оторвалась от большой колонны, адъютант Челяев, знакомый с этими местами прежде, и бывший уже с генерал-адъютантом Перовским в Ново-Александровском укр., заметил, что передовые, желая прямее выйти к выдававшемуся мысу, заходили далеко в море; опасаясь каких-нибудь последствий для отряда, если он попадет на большую глубину при столь сильном ветре, Челяев опередил отряд в своих легких санях. Догнавши передовых, он тотчас велел остановиться, пробить лед и измерить глубину. Сказано-сделано. В одну минуту казаки проломали лед, опустили в воду пику, но дна не достали; бросили лот, и он показал глубину 3-х сажень. Ч. рукою дал знать приближающемуся отряду, чтобы он поворотил влево, ближе к берегу, а сам, повернув также влево, остался вместе с передовыми казаками, чтобы чаще промеривать море, пока отряд не выйдет на 1½ или 2-х саж. глубину. Наконец, передовые приближались уже к тому месту, где берег выходит мысом в море и были от него не далее как в 3-х верстах, как вдруг раздался крик: отлом! Челяев увидел между собою и берегом, наискось, куда хотел вывести отряд, воду; он обратился назад, чтобы дать знать о том отряду, но к удивлению своему увидел в то же время несущуюся влево, ближе к берегу, всю колонну на рысях, а одну небольшую часть на месте; (это была 5 сотня). Передовые пустились влево к берегу, чтоб присоединиться к отряду, но скоро остановлены были и с этой стороны водою; они бросились назад, по направлению к 5-й сотне, но и тут было море. В таком положении передовые увидели себя окруженными со всех сторон разъяренным открытым морем, на льдине, имевшей в окружности одну версту, которую силою ветра несло прямо в глубь и время от времени уменьшало в объеме. Тут делать было нечего! Челяев, однако, обратился к казакам, с вопросом, не придумают ли они чего-нибудь для общего спасения, пока еще их льдина не очень отдалена от твердой массы льда? На что казак, из Гурьева городка, по фамилии *Соболев*, отвечал с совершенным хладнокровием, указывая на волнующееся море: «Ничего, ваше высокоблагородие! кабы еще лед был тверд и не ломало его, да был бы у нас провиант с собою, тогда, может, Бог и помиловал бы нас; но льдину нашу несет прямо в море и на глуби скоро ее искрошит; если же она уцелеет и пристанет куда-нибудь к большой льдине, мы, без провианта, умрем голодом и холодом». — Нельзя было не удивляться той твердости и присутствию духа, с какими казаки ожидали видимой гибели, тем более, что каждый из них хорошо понимал настоящее свое положение.

Сначала эта горсть людей, кинутых в открытое море, на утлой льдине, отделялась от твердых льдов водою, всего около 40 сажень, так что, не взирая на шум волновавшегося моря, Челяев с казаками слышали, как с того берега кричали им: дадим помощь или сами погибнем. Но через несколько минут порывистым ветром отнесло льдину в море за версту и бросало во все стороны по воле бурной стихии более получаса, отламывая куски волнением до того, что под конец она представляла небольшую массу, имевшую около 200 сажень в окружности. Тут Уральские казаки показали, чего этот бойкий и молодецкий народ не делает из любви к своим и неустрашимому духу. Знавшие прежде в экспедициях адъютанта Челяева и желая спасти его с передовыми, они изобретали разные несбыточные для того средства, с явным пренебрежением всякой опасности; наконец, урядник *Карп Гурьев* и казак *Иван Климов*, бывшие на берегу, вызвались разделить участь с Челяевым, и на этот конец придумали связать на крепко веревками двое порожних саней, сесть в них самим, запастись провиантом на достаточное время и пуститься в море по ветру, куда отнесло передовых, и немедленно занялись приготовлением этих необыкновенных лодок. Самоотвержение было велико, но оно могло принести пользу погибающим только в том случае, когда бы они пристали куда-нибудь к острову.

Прошло более получаса самого томительного ожидания для бедных пловцов; ветер стал мало-помалу утихать и переменяться, и вдруг раздался крик: братцы: город городить! Казаки устремились в ту сторону, куда указывал один из них, восклицая: спасение! *шиханы ставить!* Слыша в первый раз в жизни своей эти слова и не понимая их значения, Ч. спрашивал, чему они обрадовались? тут, на походе, казак Соболев сказал ему, что от переменившегося ветра их повернуло в сторону и придвинуло к стоящему крепкому льду, от напора которого льдину, где они находились, начало ломать и коробить, что уральцы называют, «шиханы ставить, или город городить». Приближаясь к окраине шагом, со всеми предосторожностями, и боясь за каждую минуту, чтоб не проломился под ними лед, уже очень ослабший от бывшего волнения, казаки увидели, что они все еще отделены от твердых льдов водой, аршина на полтора. Ожидать было некогда, потому что их рыхлая льдина быстро разрушилась; надобно было действовать немедленно; попробовали заставить лошадей перескочить через полынью с саними, и бедное животное, дрожа как лист, но чуя близкую опасность, повиновалось голосу, и все трое саней очутились на той стороне; за ними последовали казаки и Челяев.

Совершив эту переправу, путники наши не были в безопасности; они не знали, соединяется ли эта льдина с берегом, или составляет плавучую массу, подобную той, на которой они находились, и побуждаемые первым влечением, решились ехать по тому направлению, откуда их унесло ветром в море. Вдали синелся горизонт, позади волновалось и шумело море; а перед ними стлалась гладкая и блестящая как стекло поверхность льда. Далеко, верст за 5, приметно было движение людей, но было ль это на берегу или на льду, нельзя было отличить. Путники пустились на рысях, и вскоре достигли их; это была пятая сотня, уже переправлявшаяся на своих плавучих мостах.

Легко вообразить восторг казаков: они выбежали к ним навстречу, увлекаясь общим чувством радости, обнимали Чел. и передовых казаков без различия. Но радость пол. М., связанного с Ч. дружбою и полагавшего его гибель неминуемою, была неизъяснима. Переправа 5-й сотни, а с нею передовых, продолжалась около 2 часов, после чего они присоединились к отряду, стоявшему на безопасном месте, около самых берегов, где и провели ночь.

С этого ночлега отряд подвигался вперед, держась берегов, и потому ему пришлось делать большие обходы: однако же, на третий день, он благополучно прибыл на Ново-Александровское укрепление, где, передневав, выступил в дальнейший путь, тем же порядком и морем. По достижении Колпиного кряжа и Бозачи, верстах во 100 от укрепления, отряд оставил свои тяжести, и, устроив в них вагенбург, взял семидневное продовольствие и пошел далее к местам кочующих киргизов. Разведав о их близкой кочевке, казаки оставили при небольшом прикрытии продовольствие, а сами пошли рысью к кочевьям киргизов, тогда только заметивших приближение русских и готовившихся к перекочеванию; удивление киргизов было чрезвычайно; долго не верили они собственным глазам, пока, наконец, истина не явилась перед ними во всей своей ужасающей наготе. Правда, за несколько времени до того, между ними разнеслись странные вести, что иногда, на море, были видны блуждающие огни; иногда показывалась на северо-западном горизонте какая-то неопределительная полоса, словно стадо сайгаков перекочевывало; раз, даже, прибрежные киргизы, припав к земле, слышали вдали какой-то гул; но все это почитали сверхъестественным явлением, а вовсе не приближением русских, движение которых еще от самых границ не могло бы от них укрыться. Словом, казаки громом упали на них, разбили, разметали в разные стороны, многих взяли в плен, перекололи защищающихся. Потом отряд, присоединив к себе оставленных за несколько верст казаков, разделился надвое, и пошел далее, назначив общий пункт для соединения место, где оставлены были сани. Две недели сряду оба отряда были в беспрестанных движениях, преследуя, настигая и поражая бегущих киргизов.

Данилевскому удалось захватить и сжечь три большие лодки, скрытые в камышах, на которых киргизы выходят в море на грабежи.

Эту экспедицию они обыкновенно совершают таким образом: заметив русских рыбопромышленников, беспечно стоящих в море, скрываются в своих лодках, выставляют рыболовные снасти, чтоб лучше обмануть их, и, выждав попутный ветер, быстро налетают на них и захватывают часто совершенно беззащитных; потом, как водится, судно разбирают на дрова, а людей уводят в неволю или на продажу.

Через три недели оба разделившиеся отряда соединились со всеми пленными и множеством отбитого ими скота, и возвратились обратно в Ново-Александровское укреп., а оттуда в свои границы, морем же; после шестинедельной и трудной экспедиции. Цель была вполне достигнута. Киргизы твердо помнили кару русских, перестали веровать в невозможность экспедиций с нашей стороны в зимнее время, и долго не покушались на грабежи в море.

Пленный персиянин (Хива)

Поле, усеянное трупами и костями, после кровавой сечи, поражает и сокрушает даже людей, привыкших к подобного рода зрелищам; вид мертвого человека, среди пустынной и безграничной степи, одного, о бок с верным конем своим, вид этого странника, застигнутого на пути или голодом или жаждой, с рукою, простертою к стороне своей родины и с выражением страданий, замерших на лице его, – грустнее и тяжелее для того, кто встретит этот одинокий труп, кто такой же странник среди бесприютных степей, кто испытал и кому суждено часто испытывать зной и стужу, голод и жажду, буран песчаный и снежный и все терпеть и все страдать... Но для меня было еще больнее, еще грустнее, после того состояния одиночества, с которым совершенно свыкаешься во время долгого странствования в степи, вдруг перенестись в азиатский город, шумный и грязный; возвратиться к жизни, исполненной тревог и страстей; вступить в борьбу с людьми... льстить визирю и окружающим его... и быть вечно настороже, на каждом шагу остерегаться удара ножом из-за угла или доброго приема яда в присланном в подарок плове...

* * *

Сеть каналов, опутывающих *Хиву*, представить гораздо более затруднений для военного отряда, который бы желал в нее проникнуть, чем горы Усть-урт с Севера, и отроги Гиндо-Куша с Юго-Востока, которые считали важными преградами в этом случае, пока Русская военная экспедиция 1839 года не убедилась на месте, что Усть-урт имеет несколько весьма удобных входов, а английские офицеры не исследовали Гиндо-Куша, проникнув через него на Север и на Северо-Запад. Стены, окружающие Хиву, ничтожны для европейской артиллерии. Из-за них возвышается бирюзовый купол главной мечети и верхушки тополей... Русский легко обживется в Хиве; климат, и особенно вода, в ней несравненно лучше, чем в Бухаре; небо всегда ясно, ночи очаровательны, сады изобилуют всякого рода фруктами, излишнее употребление которых едва ли даже вредно здесь; по крайней мере, на нас не имело никакого дурного действия; а дыни, – вы не можете иметь о них и понятия по европейским дыням: они тают во рту, душисты как ананас и вкусны вне сравнения; недаром они пользуются известностью во всей почти Азии.

Бухарцы отзываются о хивинцах, как о варварах. Правда, хивинцы мало чему учатся; не слишком строго соблюдают религиозные обряды, грубы в обращении; зато характер их открытый, хитрость и обман не доведены до той утонченности, как в Бухаре; более склонны к общественной жизни и гостеприимны, а потому с ними легче ужиться, чем с другими среднеазиатскими народами.

Хива занимает второстепенное место в системе среднеазиатских ханств; тем не менее, покойный хан бивал часто бухарцев, и не далее как года два тому назад, привел из похода своего к границам Бухарии множество пленных. Он значительно увеличил свое ханство переселением некоторых покоренных им племен туркмен и пленных персиян и бухарцев; с коканцами Аллах-Кули-хан жил большею частью в дружбе и состоял в родстве с ханом; киргизов – тех, которые признают власть Хивы – держал в страхе. С персиянами почти всегда враждовал и часто опустошал их границы. Но я еще буду говорить о хане в другом месте...

Дни текли обычною чередой, длинно и скучно. Я рвался в путь, на свободу; но дела здесь ведутся медленно: надобно было выжидать и терпеть. Я находился постоянно в каком-то напряженном положении; кроме того, с некоторого времени меня мучило сновидение,

которое повторялось чрезвычайно часто: оно не имело в себе ничего ужасного, но ложилось на чувства, на душу, каким-то тяжким камнем, каким-то злым кошмаром. Если я закрывал глаза, ко мне являлся человек, которого я никогда не видел наяву, унылый, бледный, высокого роста, с окладистой черной бородой, и, сложив накрест руки, потупив глаза, становился передо мною, и я в томлении ожидал, чтобы он начал говорить, но он молчал; я силился спросить, что ему было нужно, старался оттолкнуть от себя! Но все усилия мои были тщетны, и мне было невыносимо тяжело, пока, напрягшись, я не исторгался, наконец, от злого сна. Так прошло несколько времени; я приписывал это действию летних жаров или желудка, принимал прохладительные средства: все напрасно. – Мне, наконец, казалось, что если бы я увидел этого человека наяву, то он бы меня не тревожил более во сне, и вскоре, действительно, увидел его...

Я вас предупреждаю, что в рассказе моем вы встретите некоторые непонятные вещи, что лицо, о котором я говорил слишком странно; его знают двое бывших моих спутников в Хиву и о нем теперь еще многие вспоминают там. Надобно же было случиться, чтобы и сама встреча моя с ним представляла в себе нечто романтическое. Вот как это было: хан, желая оказать мне особенную свою благосклонность, пригласил меня на охоту с соколами и беркутами, которую он страстно любил; охота была удачная, и хан был очень весел; сам спустил он с рук своего сокола и любовался, как тот сначала залетал в высь, выглядывая добычу, и потом стремглав из-за небес кинулся на жертву; но вдруг, у самой земли, всполохнулся, взмахнул крылами и поднялся вверх; ясно было, что он испугался чего-то необыкновенного; думали, что в камышах, над которыми он взвился, скрывался дикий кабан и радовались неожиданной встрече; но посланные на разведки объявили, что нашли человека. К указанному месту подъехал хан, а за ним и я; вообразите же мое удивление – этот человек был мое ночное видение, мой кошмар! Он стоял перед ханом, бледный, с потупленными глазами, со сложенными на груди руками, и ожидал смерти, но не молил о прощении.

– Мустафа, – сказал хан, без труда узнав своего пленника, персиянина, которого он любил и отличал, – разве тебе худо у меня; зачем ты бежал?

– Дома жена... двое детей: им нечего есть, – отвечал отрывисто пленник.

Хан обратился к Дестерханджи:

– Дать ему жену и десять тилл¹⁵; пускай пять из них отошлет детям, а на остальные обзаведется сам, – и не слушая благодарности Мустафы, отправился далее. Никто из бывших тут не ожидал такого милостивого окончания дела. Желал ли хан выказать свое великодушие передо мною, пощадил ли он пленника потому, что считал его необходимым человеком для своей артиллерии, боялся ли его чародейства, или просто он в этом деле руководствовался движением собственного чувства, – я не знаю; но к чести Аллах-Кули-хана скажу, что примеры подобного великодушия были не редки в его жизни.

С этих пор, я действительно избавился от тяжелого сновидения, зато часто встречал Мустафу наяву; он, вместе с нашим русским пленным, который некогда торговал пряниками в Астрахани, заведывал всей артиллерией хана, если можно назвать артиллерией несколько пушенок на тележных колесах, или вовсе без колес.

О Мустафе рассказывали чудеса в Хиве: говорили, что он проникал тайные мысли другого, вызывал по произволу тени давно умерших, предсказывал будущее. Сам хан веровал в его сверхъестественный дар и уважал его. Я избегал вообще сношений с посторонними людьми, но с Мустафой как-то невольно сошелся. Это было несчастнейшее существо на свете, находившееся в постоянной борьбе с самим собой и с внешним миром; его нравственное начало, не укрощенное образованием, преобладало в нем, и тело, изнеможенное, не выдерживало порывов души пылкой и сильной. – Вот история его жизни: Мустафа родился

¹⁵ Тилла почти равняется четырем рублям сер.

в какой-то персидской провинции и был в детстве пастухом; тут уже заметили его странную власть над окружающими предметами; чтобы собрать свое стадо, рассеянное на далеком пространстве, ему стоило только обвести взором своим вокруг, и овцы его сбегались к нему, в какую бы пору дня это не было, и следовали за ним с покорностью непонятной. Никогда ни одна овца не отлучалась от него и не пропадала; кроме того, его взор охранял стадо от нашествия волков и шакалов надежнее целой стаи собак. – Вскоре молва стала привлекать к нему людей суеверных, и особенно больных, испрашивавших выздоровления, и нередко одного его прикосновения, одного взгляда, было достаточно, чтобы облегчить мучения страждущего. Слава его распространилась далеко, но он не искал, а убегал ее; удалялся по целым неделям в горы или леса, и проводил там время в молитве, в посте, предаваясь размышлениям; но тщетно старался он найти ответ в своем уме на те вопросы, те сомнения, которые потрясали его, тщетно старался найти разгадку своей жизни. Предавшийся совершенно религии, он встречал одни сомнения и горько каялся в том, и не мог отогнать от себя разочарования; он было хотел принять правила Суннитов¹⁶, считая один закон Магоммета непреложным, но и тут встречал повсюду заблуждения. Приписывая это соблазну дьявола, а не собственному убеждению, он каялся, и опять сомневался, и терзаниям его не было конца. Тело его ослабело, зато зрение и слух утончились до невероятности; он безошибочно предсказывал приход каравана дня за два; но всего замечательней в нем были сила и влияние его мысли, которые не раз служили ему на пагубу. Вот, каким образом, он попал в плен. Живя в пограничной провинции, он должен был часто встречаться, с оружием в руках, с туркменами; был храбр и презирал опасность. Однажды напали на него несколько человек: аргамак Мустафы был свеж и силен, и одним взмахом оставил далеко за собой нападающих, которых лошади были уже изморены продолжительной ездой; как вдруг у Мустафы родилась мысль, что его могут настигнуть, что конь может изменить ему, и эта мысль не покидала его наперекор всей силы желания изгнать ее; он предвидел ее пагубное влияние; отчаяние овладело им; он опустил поводья, его аргамак сбавил шаг... настигнутый неприятелем, Мустафа, беззащитный, отдался в плен.

Он сам рассказывал мне последние приключения свои: давно уже он затеял оставить Хиву и хана; но первая мысль его была обратиться ко мне и молить, чтобы я выкупил или выпросил его у хана, или, наконец, тайно взял с собою: эта мысль не покидала его несколько дней и была так сильна, что вполне отразилась, как я уже сказал, в ночных моих сновидениях: «Я предугадывал это, – прибавил Мустафа, – но не мог пособить, а люди приписывают мне такую всемогущую силу. Не решившись просить тебя, – я бежал; но всю дорогу думал о хане, думал о том, что бы было, если бы он настиг меня, и, знаю, своей постоянной мыслью, которую никак не мог отогнать, я привлек к себе хана...»

Мустафа был постоянно печален; едва улыбка касалась уст его, он спешил согнать ее, предвидя в ней, по какому-то непонятному предубеждению, знамение будущих бедствий. Недоверчивый к себе, он был недоверчив и к людям, и только увлекаясь порывом чувств, он иногда высказывал вполне свою душу, и потом раскаивался в этой невольной измене самому себе.

Мустафа первоначально был куплен Магмет-Рахимом, который в то время еще не был ханом и усыплял лестью своего старшего брата, Кутли Мурата, кроткого, слабого, утратившего звание и достоинство хана и довольствовавшегося названием инаха. Магмет-Рахим был не укротим в страстях, воли железной и непреклонного сердца. Последствия мнимой дружбы двух братьев легко было предсказать, но не в том ужасающем виде, как они случились и как предсказал их, говорят, Мустафа. Он представил Магмет-Рахиму его самого, по колено в крови... окруженного трупами казненных им братьев... попирающего ногами

¹⁶ Персияне – шииты

самые непреложные статьи Корана, терзающего народ свой... представил его ханом... и Магмет-Рахим обнял его, и осыпал милостями, когда пророчество сбылось; а пророчество сбылось, как известно, во всей своей силе! Время ханства Магмет-Рахима, предшествовавшего Аллах-Кули-хану, народ твердо помнит, как страшную кару суда Божия. – За милостями хана, последовал его гнев, и вот по какому случаю, как гласит предание, – сам Мустафа ничего об этом не говорил.

Магмет-Рахим, которого не трогали, не щекотили более никакие казни, искал новых побуждений, чтобы расшевелить свои утомленные чувства, новых средств, чтобы испытать терпение народа и, в случае его волнения, накинуться на него опять голодным волком; он вспомнил, что отец его, Ельтезер, был женат на дочери потомков Сеидов¹⁷, что у мусульман почитается в высшей степени нарушением закона, и решился последовать его примеру; Мустафа, пользуясь милостями хана, осмелился ему высказать весь ужас такого преступления, напомнил гибель его отца, который, вскоре, после такого брака, утонул, переправляясь через Амударью, что явно свидетельствовало небесный гнев за оскорбление Корана, – все было напрасно: Магмет-Рахим хотел показать, что он выше закона пророка, и брак совершился; но в первую ночь, последовавшую за ним, хан заснул сном крепким и продолжительным, а его девственная супруга исчезла с брачного ложа... Разъяренный хан рвался и метался во все стороны; поражал все, что ему ни попадалось под руку; он призвал к себе Мустафу и требовал, чтобы тот возвратил ему жену, не то клялся казнить его немедленно.

– Твою жену может возвратить тебе один пророк, исторгший ее от греха; казнить же ты меня можешь сию минуту: я готов. – Равнодушие Мустафы устрасило хана, который веровал в его чародейственную силу; он довольствовался тем, что отправил его в дальние свои владения, где Мустафа провел несколько лет в рабстве и пытке, пока новый хан, Аллах-Кули, не исторг его оттуда¹⁸.

Конец Мустафы был самый печальный. Случилось как-то, что он был необыкновенно весел; ему заметили это, и он вдруг изменился, побледнел и замолк; бывшие тут мусульмане с благоговением глядели на его суеверный страх, и некоторые решились спросить, что он предзнаменует?

– Меня ожидает большое несчастье!

– Более смерти ничего случиться не может, – отвечали ему в утешение, – а смерть только возрождение к жизни: все в воле Аллаха!

– Хуже смерти, – сказал Мустафа, и распорядился своим небольшим достоянием. На другой день он встал с постели, пошатываясь, с какими-то судорожными движениями, в состоянии совершенно для него непонятном; он не узнавал ни людей, ни предметов, окружавших его; слова его и поступки показывали детское незнание... он сошел с ума...

¹⁷ Сеиды ведут свое происхождение от самого Магомета.

¹⁸ Аллах-Кули-хан умер в прошлом году; нынче ханствует старший сын его Рахим-Кули-хан.

Часть вторая (1843)

Рассказ сипая (Авганистан)

В знойный летний полдень, в Тегеране, у консульского дома постучался человек, весь в ранах, едва покрытый рубищем одежды, и в изнеможении прислонился к стене, ожидая, с терпением страдальца, пока отопрут дверь; но он недолго ждал, дверь открылась и приняла странника под надежный, гостеприимный кров консульского дома. И только по истечении некоторого времени, и только по обязанности, спросил почтенный консул об имени пришельца. «Я сипай, – отвечал тот, – чудом спасся от общего истребления индийско-британского войска в Авганистане и, проданный, вместе с несколькими другими, в отдаленные провинции, не мог быть выручен своими соотечественниками. Предпочитая смерть вечному рабству, я решился бежать, – и вот я перед вами; но много, много тяжких дней прошло, пока я достиг до Тегерана». И странник рассказал длинный ряд лишений, пыток, всякого рода терзаний, которые испытал он, частью разделяя участь несчастной армии, частью во время своего рабства и бегства из плена. Я передам вам этот рассказ. Вы видите, я поведу вас опять путем мрачным, заваленным трупами людей и верблюдов: картина уже вам знакомая; что делать! Такова эта картина, и я не отступлю от истины. На востоке только и светлого, что небо.

Прежде, однако, чем приступим к рассказу сипая, мы должны окинуть, хотя быстрым взглядом, место действия; иначе этот рассказ будет для нас темен и непонятен.

Авганистан, или империя Дураниев, как обыкновенно, хотя и не совсем правильно, его называют в Европе, воздвигнут в своем величии и блеске Ахмат-шахом в половине прошедшего столетия, и вместе с кончиной его уже частью утратил свое политическое значение, хотя еще и держался несколько времени в прежних границах. Он касался на юге моря, обнимая провинцию Белуджистан, на севере – Туркменских степей; на западе далеко вторгался в персидские владения; а на востоке простирался за Инд, владея Кашемиром, справедливо названным перлом империи. В Авганистане считалось до 20 миллионов жителей: народонаселение довольно малочисленное по пространству, но мощное по своему воинственному духу, который умел вдохнуть в него Ахмет-шах, и потому можно было безошибочно назвать Авганистан сильнейшим государством в Азии, не считая Британской Индии. Преемники Ахмет-шаха, Тимур, слабый, женоподобный, Земан, грубый и жестокий, Махмут и, наконец, Шуджа, игравший такую жалкую роль почти в течение целого последнего полустолетия, приготовили Авганистан к той страшной катастрофе, которая совершилась на наших глазах.

Шах Шуджа-уль-мульк в первый раз потерял свое царство, – а он терял его часто, – в 1809 году, на равнинах Нимли, очень скоро после того, как британское посольство Эльфинстона воздало ему все царственные почести. С тех пор шах Шуджа явил собой редкий пример несчастий. Как судьба не устала бичевать так долго одну и ту же жертву! То нищий скиталец, то наемный царь, без власти и без царства, побуждаемый советами своей умной и смелой жены, или посторонней силой. Шуджа иногда порывался к отважным подвигам, к борьбе с судьбой, но это был порыв к полету старого лебедя, у которого обрублены крылья. Изнеможенный, он падал. Всего более силы духа проявил он, защищая свое сокровище, свой драгоценный алмаз, ког-и-нор, гору света, от алчности покойного магараджи Реджит-Синга.

Последние события, сопровождавшие смерть шаха Шуджи и совершенное истребление двадцатитысячной индийско-британской армии, всем известны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.